«Враги ли мы с греками?»

По произведениям
КОНСТАНТИНА
ЛЕОНТЬЕВА

«Враги ли мы с греками?». По произведениям Константина Леонтьева //Информационно-издательский центр “К Свету”, Москва, 2014
FB2: Maximus, 130601759852710000, version 2.0
UUID: {1A9B782E-51FA-452B-BF4C-1772BCFEE9AA}
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Николаевич Леонтьев

«Враги ли мы с греками?». По произведениям Константина Леонтьева

Книга составлена по сочинениям Константина Леонтьева (монаха Климента; 1831–1891) нравственно-аскетического и духовно-политического содержания, в которых изложены его взгляды на вопросы церковного единства, религиозных основ национальной жизни и отношений между братскими православными народами. Воззрения Леонтьева особенно ценны и значимы, поскольку он много лет нес государственную дипломатическую службу среди христиан Православного Востока, а как христианин и мыслитель сформировался под непосредственным влиянием великих афонских старцев — подвижников и духовных деятелей.

Составил монах Арсений (Святогорский).

«Враги ли мы с греками?»

Так называлась одна из статей Константина Леонтьева. Она была написана в то время, когда болгары своевольно отложились от Вселенской Церкви, а русская общественность, печать, дипломатия (к которой и Леонтьев тогда принадлежал, в течение 10 лет служа на Востоке, в Турецкой империи) мало понимали настоящее положение греко-болгарских дел, выносили неверное и недальновидное суждение о греках, и в частности о греках цареградских — фанариотах.

Вот отзыв о Константине Леонтьеве митрополита Антония (Храповицкого): «Я впервые встретил писателя, да еще светского, для которого греческие и болгарские христиане в Турции являлись такими же близкими по духу братьями, как наши русские соотечественники; я впервые встретил писателя, который говорил о греках без примеси недоброжелательного чувства. Предо мною был светский писатель, просвещенный и смелый, для которого Церковь была выше и дороже, чем государство или нация, — который представлял

себе и читателю нашу Русь не как часть „культурной и просвещенной“ Европы, а как часть Вселенской, Православной Христовой Церкви! Полная противоположность таким воззрениям даже моих любимейших писателей, а также моих преподавателей, моих знакомых, родственников и даже знакомых священников»[1].

Православным мыслителем Константин Николаевич Леонтьев стал уже в 40-летнем возрасте после целого ряда переломных моментов в своем мировоззрении, душевных потрясений, скорбей и болезней, перемены образа жизни.

В студенческие годы, когда он обучался на медицинском факультете Московского университета, его крайне не удовлетворяла однообразная, неполноценная физически жизнь в городе, от которой томился его дух и расшатывалось здоровье. После 4-го курса он поехал добровольно в Крым военным врачом; окунулся с головой в жизнь более грубую, более страшную и опасную, тяжелую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума. И за это военное время он стал здоровее те-

лом, бодрее и веселее духом, спокойнее, тверже и смелее. С детства любивший все эстетически прекрасное, все родное, русское, Леонтьев теперь полюбил и саму жизнь во всем ее разнообразии, со всеми вовек непримиримыми ее противоположностями и крайностями.

В детские годы вместе с любовью к родине, к родной русской старине, матерью ему были привиты монархические взгляды. Но под влиянием литературы, произведений западных и отечественных писателей 1840-х годов в молодости он стал склоняться к модным тогда либеральным идеям демократического направления западного происхождения, перед которыми преклонялась русская интеллигенция.

Живя в Петербурге, уже в 30-летнем возрасте, Леонтьев заметил, что европейские моды, обычаи постепенно вытесняют русскую самобытность, которую он любил и ценил. Он вдруг осознал сущность демократического прогресса с его гуманными и с первого взгляда весьма благоприятными для человечества идеями свободы, равенства, братства и всеобщего блага. Леонтьев понял, что речь идет не

просто о гражданском равенстве, а о полнейшем однообразии общественного положения, воспитания и характеров, об уничтожении монархии, дворянства, религии.

Леонтьев сделал вывод, что, подобно тому как однообразная городская жизнь подрывает здоровье человека, так и социальное однообразие делает государственный организм нездоровым. Леонтьева ужаснула серая скука такого будущего. Он поступил на дипломатическую службу, покинул ставший ему противным до ненависти Петербург и поехал на Восток, в Турцию, где еще оставалась народная самобытность, предохранявшая народ от дурного влияния европейской цивилизации.

В 1871 году, будучи консулом в Салониках, Леонтьев находился в тяжелом душевном кризисе, во время которого его посетили болезни, семейные неурядицы, непонятная и невыносимая внутренняя тоска и ко всему равнодушие. В этот тяжелый для него период, после чудесного исцеления Божией Матерью от смертельного приступа холеры, Леонтьев поехал на Афон.

Ему захотелось снова уверовать, как верил

в детстве, с простотою сердца, стать православным и даже постричься в монахи. Немногим больше года прожил он на Святой Афонской Горе под руководством старца отца Иеронима, общего духовника Русского Пантелеймонова монастыря, которого мыслитель называл «великим наставником» и чтил до самой смерти.

Сразу же, — как будто что-то родное, но давно забытое, — Леонтьев воспринял органически и полюбил всем сердцем Православие и монашество, которое учит правильно смотреть на жизнь во всем ее разнообразии доброго и злого: скорби и радости, обиды и прощения, любовь и ненависть, вражду и примирение, столкновения, уничижение и уступчивость, искусственные телесные ограничения и утешения и прочие противоположности нужно воспринимать как необходимое средство для духовно-нравственного преуспеяния.

В афонском монастыре, в монашестве, Леонтьев нашел свой идеал в жизни и по существу уже тогда стал монахом или полумонахом, как называл он сам себя, потому что

очень многим еще был связан с миром.

Глубоко чтимый Леонтьевым старец отец Иероним, с именем которого связано возрождение русского монашества на Афоне, прибыл на Святую Гору в 30-летнем возрасте в 1836 году, поселился на келлии святого пророка Илии близ монастыря Ставроникита и проживал там тихо и мирно с несколькими учениками под руководством общего тогда для русских афонцев духовника старца Арсения. Но в 1840 году отец Иероним (в то время еще монах Иоанникий) вынужден был переселиться в Русский Пантелеймонов монастырь (иначе — Русик) с благословения того же старца и по просьбе греческих монахов, населявших тогда эту обитель, по названию только русскую. Греческая братия Русской обители вынуждена была пригласить русских на совместное жительство по причине крайней материальной нужды, упадка и расстройства. Русским была предоставлена некоторая самостоятельность со своим духовником, церковью и богослужением.

Отцу Иерониму удалось восстановить отношения со своим отечеством, в прежние

времена поддерживавшиеся обителью, а потом нарушенные, и монастырь стал быстро пополняться русскими насельниками, желавшими строгой аскетической жизни, и укрепляться материально. Но самому отцу Иерониму пришлось много пережить и перетерпеть среди людей хотя и единоверных, но с иным укладом и образом жизни, темпераментом, характером и привычками, со своими страстями, свойственными каждому человеку.

Некоторые греки из других монастырей, преследовавшие узкие национально-этнические цели, упрекали игумена отца Герасима за то, что он принял русских. Те же «племенные» чувства, боязнь уступить первенство давали повод и место диаволу возбуждать вражду и неприязнь среди пантелеимоновского братства по отношению к русским.

Отец Иероним, чуждый всякого национального пристрастия, видевший в греках и в русских одну братию о Христе, всячески направлял греков на путь единомыслия и любви к русским, отдавал им во всем предпочтение, как первым хозяевам обители, и всегда ставил на вид всей своей братии, что пришли

они в монастырь не для национальных распрей, а для спасения души, почему как от греков, так и от русских всегда требовал паче всего мира и братской любви друг к другу. Кроме того, он стремился избегать всего, что может повредить уважению и благоговению, внушаемым всем православным одним только упоминанием Святой Горы — земного удела Божией Матери, прославленного многими духовными подвигами преподобных отцов.

Ради общего мира, столь необходимого для спасения души, русские терпеливо переживали свое приниженное положение. И сам отец Иероним, как посланный в обитель за святое послушание, смиренно переносил и случавшийся ропот, и дерзости всякого рода со стороны старых братий-греков. «Промысл Божий собрал нас сюда, — говорил отец Иероним, — Он и попечется о нас. Стараться нужно поддерживать любовь между греками и русскими и те правила, каковые теперь у нас, — и Бог не оставит».

«Мати Милосердия, — умолял он Матерь Божию, — заступи меня, и чад моих духовных, и обитель сию. Соедини любовию два об-

щества — русское и греческое»[2].

Принимая в Русик новоначальных послушников, отец Иероним предупреждал, что в обители есть два главных общества: греческое и русское, есть представители и других наций, и со всеми необходимо жить в мире, как со своими родными братьями. Просвещенный и умудренный благодатию Божией, он имел правильное понятие о всех скорбях и неприятностях, которые ему приходилось терпеть. Он смотрел на них как на спасительное врачевство, горнило, очищающее душу для жизни вечной.

Так же и Леонтьев, прошедший монашеский искус у отца Иеронима, тоже хорошо усвоил правило, что скорби не только неизбежны, но и нужны; что если бы не было в монастырях грубости, жестокости, вражды и обид, то и не смогли бы выработаться примерные и мудрые иноки, старцы, столь необходимые и для своего братства, и для мирян.

Леонтьев говорил, что личная вера «вдруг докончила в 40 лет» его «политическое и художественное воспитание»[3].

С принятием личной веры, возгоревшейся

в сердце его, с просветлением ума по этой же причине, его понимание необходимости социального разнообразия в положениях — неравноправности лиц, классов, областей, вероисповеданий, полов и т. д. — дополнилось и завершилось убеждением, что реальное разнообразие не сможет «долго держаться без формирующего, сдерживающего, ограничительного мистического единства»[4]. Что без этого объединяющего мистического единства скоро произойдет то смешение в однообразии положений, которое он назвал эгалитарным прогрессом и всемирной революцией. Что этим мистическим единством в России является Православие и что государственная Россия без строжайшего охранения православной дисциплины разрушится еще скорее многих других держав.

Православие для Леонтьева теперь — Вечная Истина. «Церковь вечна, — говорит он, — но Россия не вечна и, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России нужна Церкви, а сила Церкви необходима для России»[5]. Поэтому мыслитель даже при разрешении сложных политических вопросов

ищет прежде всего пользу для Церкви, он опирается на каноны церковные с уверенностью, что все остальное приложится по слову Господню. Человеком, желающим блага Церкви, называл Леонтьева отец Иероним[6].

Для наглядности и более ясного понимания законов развития и жизни государств Леонтьев сравнивает их с физическими организмами:

«Организмы общественные подобны организмам физическим... они живут разнообразием жизни в единстве веры и власти...

Государство есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, независящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи»[7].

Леонтьев показывает, что как дерево, «выходящее из земли», в начале своего роста просто и имеет мало своих отличительных признаков, так и все государства древние и новые вначале имели одинаковую общую «простоту и однообразие, больше равенства и свободы»[8]. Затем по мере развития у них про-

исходит «большее или меньшее укрепление власти, более глубокое или менее резкое (смотря по задаткам первоначального строения) разделение сословий, большее разнообразие быта и разнохарактерность областей». Вместе с тем «увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных — Фемистокла, Ксенофонта, Александра — крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссеев и Ахиллов. Являются Софоклы, являются и Аристофаны, являются вопли Корнелей и смех Мольеров. У иных Софокл и Аристофан, Корнель и Мольер сливаются в одного Шекспира или Гёте»[9].

Таким образом, разнообразие порождает творческие силы, формируется высокая культура, искусство, выделяется аристократия, выдвигаются выдающиеся личности.

Всякий физический организм, к примеру

дерево, в период полного своего развития имеет наибольшее разнообразие составляющих его элементов, своих отличительных признаков, качеств и достоинств. И все это разнообразие повинуется единому внутреннему закону, идее, объединяется этим законом, и каждая составляющая служит по своему назначению общему процветанию организма. Дерево выразило свою внутреннюю идею.

Подобное наблюдается и в государстве. По мере развития разнообразия положений, прав, быта появляется внутренняя потребность единства, наклонность к единоличной власти, «которая по праву или только факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности»:

«Являются великие замечательные диктаторы, императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны (в древнеэллинском смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п.

Между Периклом, диктором *фактическим*, и между законным самодержцем по наследству и религии — помещается целая лестница

разнообразных единоличных властительств, в которых ощущается потребность везде в сложные и цветущие эпохи для объединения всех составных частей, всех общественно-реальных сил, полных жизни и брожения.

Провинции в это время так же всегда разнообразны по быту, правам и законам»[10].

Государство выразило свою форму.

В глубокой древности греко-римская империя достигла высокой культуры и образованности. Ученость была значительная, но не было тогда науки отвлеченной в нынешнем значении этого слова. Она была глубоко связана с религией. С распространением христианства византийская образованность сменила образованность греко-римскую.

«В первоначальном созидании Церкви принимали участие люди разных племен: итальянцы, испанцы, славяне, уроженцы Сирии, Египта, Африки. Преимущественно на эллинском языке, с помощью эллинской цивилизации строилось сложное и великое здание догмата, обряда и канона христианских. Без сложности этой, удовлетворяющей разнообразным требованиям, невозможно было бы

и объединить в одной религии столь разнородные элементы: племенные, сословные, умственные, и на столь огромном пространстве...

Что такое византизм? Византизм есть прежде всего особого рода образованность или культура, имеющая свои отличительные признаки, свои общие, ясные, резкие понятные начала и свои определенные в истории последствия... Византизм в государстве значит — Самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных Церквей, от ересей и расколов». В нравственном мире византийский идеал склонен «к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу»[11].

Культура романо-германской Европы выделилась из общевизантийской культуры и в отличие от византизма внесла крайне преувеличенное понятие о достоинстве земном личности человеческой, самоуважение.

Византизм на Западе действовал уже

меньше своей религиозной стороной, которая у Запада была и без того развита и могуча. Он действовал косвенно эллино-художественными и римско-юридическими сторонами своими: везде «усиливается монархическая власть, войска принимают характер государственный, обновляется несказанно мысль и искусство. Зодчество, вдохновляясь древними и византийскими образцами, производит новые сочетания необычайной красоты»[12].

В Средние века благодаря «организованному разнообразию» европейские государства достигают своего полного расцвета; они дают миру настолько высокую и богатую культуру, что история еще не представляла подобного [13]. В то же время в европейской культуре развивается и «крайне преувеличенное понятие о земной личности человеческой», то «чрезмерное самоуважение», начало которому положил германский феодализм и которое «перейдя путем зависти и подражания сперва в буржуазию, произвело демократическую революцию и породило все эти нынешние фразы о беспредельных правах лица, а потом, дойдя до нижних слоев, сделало из всякого

простого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства»[14].

Вместо «организованного разнообразия» больше и больше распространяется «разложение в однообразие». Все европейские государства испортили у себя более или менее в частностях ту государственную форму, которая выработалась у них в период цветущей сложности[15].

Начало «организованной сложности» или «единства в многообразии» в России начинается «в XVII веке, во время Петра I»:

«До Петра было больше единообразия в социальной, бытовой картине нашей, больше *сходства* в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, утвердил еще более и крепостничество. Дворянство наше, поставленное между активным влиянием Царизма и пассивным влиянием подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало расти умом и властью, несмотря на подчинение Царизму.

Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились и досуг, и вкус, и умственное творчество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический в смысле вышеизложенного расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство...

Расслояющие мероприятия Петра и Екатерины охватили всю жизнь огромного государства железной сетью систематической дисциплины; дисциплина эта, приучавшая одних ко власти, а других к повиновению, способствовала развитию во всех слоях и подразделениях общества характеров сильных, страстных и выдержанных, сложных и цельных, тонких и мужественно-грубых»[16].

Искусственная система неравенства, сопрягаясь с незыблемыми византийскими нашими основами в религии, в государстве, в семейном быту сделали Россию «той „исполинскою державой, которой мы сыны“. Только после этого „искусство и мысль стали у нас возможны“»[17].

«Неужели, — размышляет Леонтьев, — не назвать своего рода прогрессом такие условия русской жизни, при которых возможна стала преемственность Державина, Карамзина, Жуковского и Пушкина? *Мыслью своей* (не европейской) мы, правда, были очень бедны и тогда, весьма небогаты и теперь, несмотря на многоречие печати; но, по крайней мере, явилось *свое* искусство... а искусство у народа это именно то, что *переживает в вечной славе его самого...* Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить целые века под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построился Кремль и его соборы, чтобы Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы...»[18]

Все реформы Петра I были европейскими и антинациональными (с точки зрения национализма культурного, обособляющего «от Запада в отношении *духа* цивилизации»[19], а

не государственного, политического национализма). Единственная из реформ — расслоение общества — благодаря тому, что поставлена была «совершенно по-русски»[20], принесла успех. Прочие же реформы, по мере усвоения их русской интеллигенцией в первую очередь и отступления от наших византийских начал, ослабили русско-византийскую культуру, после чего уже последовало и разрушение государства.

С конца XVIII века в Европе является «новая религия», которая проповедует всеобщее равенство и свободу, ради удобства и счастья здесь, на земле, ради всеобщего блаженства, которое отныне должно составлять конечную цель государства.

Идея новой религии прямо противоположна византизму, который «отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов» и «есть сильнейшая антитеза идее земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства»[21].

Согласно новой прогрессивной идее, для земного счастья необходимо как можно больше освободиться от уз, накладываемых рели-

гией, государством, обществом, семьей, все должны сделаться равноправными.

Все то разнообразие государственного дерева, которое созидалось веками и благодаря которому достигался его расцвет и могущество, должно быть смешано, разрушено, уравнено, обезличено. Человек должен стать чем-то средним, безвредным и трудолюбивым, но безбожным и безличным, «немного стоиком и немного эпикурейцем»[22].

Такому человеку Леонтьев дал имя средний европеец, средний человек. Он лишен всякой творческой силы и никакой культуры миру дать уже не может, кроме серой однообразной прозы, скучного безнравственного фильма, однообразных громад жилых корпусов с однообразным бытом в них проживающих людей с однородным образованием и воспитанием; кроме химического удобрения, ядерного оружия, противозачаточного средства и всего прочего, что нам теперь хорошо известно.

Стремление обратить человека в «среднего европейца» Леонтьев называет революцией и всеобщей ассимиляцией:

«*Такой* революции служат не одни мятежи, цареубийства и восстания, но и самые законные демократические реформы, и всемирные выставки, и однообразие обучения, и однородные вкусы и моды, и равнодушие в деле религии, и даже все изобретения ускоренного обращения»[23].

Таковы политические убеждения Леонтьева как православного мыслителя.

Таким образом закончилось политическое воспитание Леонтьева. Главным политическим врагом его отныне становятся прогрессивные, западные идеи или кратко, как он выражался, «Европа», погубившая «у себя все великое, изящное и святое», которое она и «у нас, несчастных», уничтожает своим «заразительным дыханием»[24]. Художественное же воспитание Леонтьева завершилось на том, что все произведения его теперь пронизаны церковным мировоззрением.

До обращения на Афоне Леонтьев в своей консульской деятельности часто поддерживал болгар как близких по крови славян. После того как Леонтьев обратился, на национальный, племенной вопрос он стал смотреть

совсем по-другому. Достоинством племени он считает не собственно национальные признаки, но идею, присущую этому племени, которая существует как отвлеченное понятие, но в то же время как реально воплощенная в жизни и быте этого племени, «живая сила» [25]. Само племя он сравнивает с телом человека, а идею — с духом, поэтому и на племя, которое не имеет своей идеи, смотрит, как на ничего не значащее. «Что такое племя без идеи, по мере сил строго проводимой в жизнь? Что такое славянство *без Православия* ? Плоть без духа! Груда неорганическая — без плана и цемента... легко дробимая тяжким молотом истории»[26].

Прибыв в Константинополь после Афона, Леонтьев уже более детально ознакомился с греко-болгарским вопросом. Узнав роль многих «тайных пружин», понял, «что болгары не только отложились *своевольно* от Патриарха, чего не сделали в свое время ни Россия, ни Сербия, ни Румыния, но *преднамеренно* искали *раскола*, преднамеренно всячески затрудняли мирный исход, чтобы произвести больше политических захватов»[27].

По внешности весь спор между обеими сторонами, греками и болгарами, был «в границах» «национального влияния»: грекам давно хотелось «погречить» болгар Фракии и Македонии, где проживало больше болгар, чем греков. Болгары, в то время подданные турок, — народ хитрый, искусный, упорный, терпеливый, — уже начали формироваться как «политическая народность» и заботились лишь о том, чтобы выделиться «какими бы то ни было путями из других, более выросших соседних наций». При этом они сами иногда сознавались, что им «всего выгоднее быть заодно с турками»[28].

Греки надеялись достичь своей цели влиянием на болгар литургии на греческом языке, греческой иерархии. Нежелание национального преобладания греков вызывало у болгар сопротивление как против самих греков, так и против их иерархии и Церкви. Этим стремлением болгар выделиться «из греков» двигали и скрытые политические цели, «болгарский политический сепаратизм»: «турки, как известно, предпочитают считать и делить своих подданных по религиям», по-

этому создание собственной церковной организации по турецким законам давало народу право на относительную самостоятельность внутри империи, «провинциальную автономию и войско свое под султанским знаменем»[29]. Таким образом, как замечает Леонтьев, «болгарский сепаратизм принял вид церковный и воспользовался для своих мирских целей святыней веры»[30].

Болгары воспитаны греками, вера у них одна, привычки схожи. Внешнее различие Леонтьев отмечал только среди населения сельского. Среди городской интеллигенции греческой и болгарской нет никакой разницы. Те же обычаи, те же вкусы, те же качества и те же пороки. Тот же демагогический и конституционный дух; расположение к демократическому прогрессу одинаково присуще обеим сторонам[31]. Все та же «Европа».

С точки зрения Православия разница между греками и болгарами велика.

У грека все национальные воспоминания соединены с Православием. Византизм, как продукт исторический, принадлежит греку. Христианство для грека значит Православие,

догматы, канон и обряд, взятые во всецелости. У болгарина, напротив того, половина воспоминаний, по крайней мере, связана с борьбой против византизма, против этих православных греков. Таким образом, «у греков вся история их величия, их падения, их страданий, их возрождения связана с воспоминанием о Православии, о византизме. У болгар, напротив того, только часть; а другая часть, и самая новейшая, горячая, модная часть воспоминаний связана с племенным возрождением, купленным ожесточенной борьбой против Церкви»[32].

Для отделения от Вселенской Церкви болгары имели всего лишь фирман (грамоту) турецкого султана, которая подтверждала только то, что светское правительство не препятствует восстановлению утраченной церковной независимости после ликвидации турецкими властями Тырновского Патриархата в свое время.

«Народ болгарский, — пишет Леонтьев, — и прост, и политически неопытен, и вовсе не так религиозен, как, например, русский простой народ. Это сознают все и на Востоке. Ин-

теллигенция же его терпелива, ловка, честолюбива, осторожна и решительна. Например: заметивши зимою 71-го года, что стараниями русской дипломатии (так говорят здесь многие и даже иные более умеренные болгары) дело между Патриархией и болгарами идет ко взаимным уступкам, увидавши на Вселенском Престоле Анфима, который прослыл до известной степени за человека, расположенного к болгарам, или к примирению, вожди крайнего болгаризма, доктор Чомаков (вероятно, материалист), какой-то поэт Славейков и, вероятно, еще другие лица из тех солидных и богатых старшин, которые и у греков, и у югославян так влиятельны благодаря отсутствию родовой и чиновной аристократии, и т. п. люди, уговорили и принудили известных болгарских архиереев Илариона, Панарета и др. стать открыто против Вселенского Патриарха и прервать с ним всякую связь. Они решились просить, ни с того ни с сего, позволения у Патриарха, ночью, под 6 января, разрешения отслужить на Крещенье поутру свою особую болгарскую литургию, в виде ознаменования своей церковной независимости.

Они предвидели, что Патриарху греки не дадут согласиться на это и что, наконец, и трудно вдруг, в несколько часов, ночью, второпях, решиться на такой важный шаг, дать позволение служить архиереям, которые были низложены Церковью и находятся теперь в руках людей, Церкви враждебных.

Чомаков и К° знали, что будет отказ, и требовали настойчиво разрешения, чтобы в глазах несведущих людей сложить всю вину на греков: „Греки нам не дают воли: чем же мы виноваты?“

Чомаков и К° знали, что они поставят этим поспешным требованием Патриарха между Сциллой и Харибдой. Если, паче чаяния, Патриарх благословит, то этим самым вопрос разрешен, фирман султанский в пользу болгар признан Церковью, хотя в нем и есть вещи, дающие повод к новым распрям. Если же Патриарх откажет — „coup d’etat“[33] народный, и „Бог даст“ и *раскол*!

И Патриарх отказал.

Этого только и желала крайняя болгарская партия...

Она знала... до чего заблуждаются многие

греки, воображая, что болгары ни придумать ничего не умеют, ни сделать ничего не решаться без указания русских. Она предвидела, что греки все это припишут русским.

Болгарская крайняя партия предвидела, какое бешенство против русских возбудит в греках поступок болгар 6 января и какие препирательства начнутся после этого между греками и русскими.

Агитаторы болгарские предвидели, в какое затруднение поставят они и Синод, и дипломатию русскую. Они думали, сверх того, что для Турции выгодны и приятны будут эти распри...

Греки объявляют схизму.

Греки в исступлении бранят русских, и русские отвечают им тем же...

Турки, улыбаясь, склоняются то в ту, то в другую сторону... Это и нужно было болгарам.

„На русскую дипломатию, на русский Синод мы прямо действовать не в силах (сказали болгары): мы подействуем лучше на общество, менее опытное, менее понимающее, менее связанное осторожностью, а общество русское повлияет, может быть, потом косвен-

но и на Двор, и на Синод, и на здешнюю дипломатию... Когда нет сил поднять тяжесть руками, употребим какой-нибудь более сложный, посредствующий снаряд!“

Так думали, так еще думают, конечно, болгарские демагоги...

Многое они предвидели и знали обстоятельства хорошо. Например, они знали очень хорошо вот что: во-первых, что национальная идея ныне больше в моде, чем строгость религиозных чувств; что в России, например, всякий глупец легче напишет и легче поймет газетную статью, которая будет начинаться так: „Долголетние страдания наших братьев, славян, под игом фанариотского духовенства“...

К тому же у греков кто в России? Купцы или монахи за сбором денег, люди не популярные. У болгар в России студенты, профессора и т. п. люди, которые стоят ближе греков к печати русской, к влиятельным лицам общества мыслящего, к прогрессу, к моде, к дамам Москвы!

Студенты плачут о бедствиях угнетенного, робкого, будто бы простодушнейшего в свете народа. Жинзифовы, Дриновы и подобные им

пишут не особенно умно, но кстати и осторожно...

Итак, болгарский народ, увлекаемый и отчасти обманутый своими вождями, начинает свою новую историю борьбой не только противу греков, но, по случайному совпадению, и противу Церкви и ее канонов»[34].

Болгары «хотели иметь экзархат *не административный, не топографический* в определенных границах, но экзархат *племенной*, „филетический“, — как выразилось греческое духовенство на соборе 72-го года. Экзархат или даже Патриархию административную, или топографическую, Вселенский Патриарх мог бы им дать и был бы вынужден обстоятельствами сделать это позднее... но болгары желали экзархата „племенного“, т. е. чтобы все болгары, где бы они ни находились, зависели бы прямо и во всех отношениях от своего национального духовенства. Конечно, Патриарх *не имел* даже и *права* уступить их желаниям в *такой форме*». Он не мог нарушить постановления Апостольских правил, которое гласит: «два епископа во граде да не будут». «Болгары тогда отделились самовольно;

а собор объявил их отделенными, т. е. отщепившимися, отщепенцами, „раскольниками“... Вот и всё»[35].

Леонтьев пишет, что простолюдины болгарские менее развиты умом, чем греческие. Старшинам их легко удалось обмануть и уверить, что «раскол — не раскол, что Россия сочувствует болгарам безусловно, что весь мир за них и т. п. Греки образованнее и гораздо богаче. Но за болгар мода этнографического либерализма, за них должны быть все прогрессисты, атеисты, демагоги, все ненавидящие авторитет Церкви или не вникающие в ее дух (а сколько этих не вникающих!)»[36].

Болгары «*искали раскола преднамеренно*, искусно и упорно раздражая греков, и добились того, чего искали. А греки, увлекшись гневом и *надеждами на помощь Англии*, воображали, что Святейший русский Синод сделает грубую ошибку и *официально* заступится за болгар... сделали политическую ошибку; они дали посредством полного отлучения болгарам возможность простирать свободнее прежнего свое национальное *влияние до последнего македонского села. Отделенным*

болгарам никто из греков явно и законно уже мешать не мог...

Эллинизация болгар до Балкан и великая идея греков стала после этого невозможностью»[37].

«Болгары все вместе под Турцией», а греки делятся на «свободных эллинов» (подданных независимого Греческого государства) и подданных Турецкой империи; «греки разделены между двумя центрами, Афинами и Царьградом, которые не всегда согласны»[38]. Леонтьев пишет, что цареградские греки, именующиеся фанариотами, духовенство и миряне (в особенности духовенство), это люди, «которых даже прямые личные интересы теснее, чем у кого-либо другого связаны на Востоке со строгостью православной дисциплины, со строгостью православных преданий, православных уставов, православных чувств»[39]. У афинских же греков, напротив, на первом месте чувства племенные.

Если нация — есть плоть, а ее идея — дух, то по закону духовному плоть противится духу. Для господства духа она должна быть ограничена, сдержана, закрепощена. Свобода тела

человека низводит его на уровень животного. Свобода, раскрепощение нации обращает ее к «новой религии» земного вседовольства, приводит все к тому же космополитическому однообразию: гражданское равенство, политическая и личная свобода, смешение племен и сословий, освобождение от уз церковных, семейных, общественных и пр. Приводит к разрушению того, «что было создано прежде и потом с горячей любовью и непоколебимо сохранялось целые века»[40]. Такое освобождение «чисто национальное», или, по леонтьевской терминологии, «племенное»[41], дает плоды вовсе не национальные, а революционные: «Оно обмануло всех самых опытных и даровитых людей... Даже наши славянофилы не узнали в так называемом национальном движении своего злейшего врага: *космополитическую революцию*»[42].

Леонтьев, говоря о национальном освобождении в «новое время», рассматривает пример Греции — «свободной Эллады», т. е. Греческого государства с центром в Афинах:

«Для меня достаточно напомнить и заявить: вот как действовали в веках XV, XVI и

XVII все эти *национальные объединения*, все эти *изгнания* иноземцев и иноверцев, все эти *очищения племенных государств* от посторонней примеси. Национального не искали тогда сознательно, *но оно само являлось путем исторического творчества*.

Каждый народ в то время шел своим путем и своей независимостью обогащал по-своему великую сокровищницу европейского духа.

Не то мы видим теперь!

Теперь (после объявления „прав человека“) всякое объединение, всякое изгнание, всякое очищение племени от посторонних примесей дает одни лишь космополитические результаты.

Тогда, когда национализм имел в виду не столько *сам себя*, сколько интересы религии, аристократии, монархии и т. п., тогда он *сам себя-то и производил невольно*. И целые нации, и отдельные люди в то время становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее.

Теперь, когда национализм ищет *освободиться, сложиться, сгруппировать людей* не во имя *разнородных*, но связанных внутренно

интересов религии, монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы *самого племени*, результат выходит везде более или менее *однородно-демократический*. Все нации и все люди становятся все сходнее и сходнее и вследствие этого все беднее и беднее духом.

Национализм *политический, государственный* становится в *наше время* губителем национализма *культурного, бытового*.

Неузнанная сначала *в новом виде* своем демократическая всесветная революция начинает после каждого нового успеха своего все скорее и скорее сбрасывать с себя лженациональную маску свою; она беззастенчивее прежнего раскрывает с каждым шагом свой искусно избранный *псевдоним*!

Не ходя далеко, мы увидим прекрасно новейшую беззастенчивость эту из сравнения греческого освобождения 20-х годов с болгарским *семидесятых*. Чем дальше — тем хуже!..

Первое по времени движение национального характера в XIX веке было греческое восстание 21 года... Маленькая, *весьма оригинальная* тогда Эллада достигла ближайшей

национальной цели своей. Не будучи еще в то время в силах объединить *все свое племя* и освободить его из-под власти турок и англичан (на Ионических островах), эллины удовольствовались пока небольшим свободно-национальным государством в один какой-нибудь миллион. Но что вышло? Большинство эллинофилов того времени ждали от этих возрожденных эллинов чего-то особенного в бытовом и духовном отношении. *Ждали и — ошиблись.*

Творчества не оказалось; новые эллины в сфере высших интересов ничего, кроме благоговейного подражания *прогрессивно-демократической Европе*, не сумели придумать. Как только удалились *привилегированные* турки, которые изображали собой нечто вроде чуждой аристократии в среде греков, кроме полнейшей *плутократической*[43] и *грамматократической*[44] *эгалитарности, ничего не нашлось*. Когда нет в народе своих привилегированных, более или менее неподвижных сословий, то богатейшие и ученейшие из граждан, конечно, должны брать верх над другими. В строе эгалитарно-либеральном неиз-

бежно развиваются поэтому весьма подвижные и не имеющие преданий и наследственности плутократия и грамматократия. Новая Греция не могла тогда вынести Царя своей крови, — до того вожди ее, герои *национальной свободы*, страдали *демагогическою* завистью! Она, эта новая Греция, не вынесла даже власти *президента* родной греческой крови, графа Каподистриа, и *его скоро убили*.

На чем же она, эта Греция, надолго (и доселе) примирилась? На королях *европейского иноверного* происхождения, во-первых, а во-вторых, на *конституции более либеральной, чем самые либеральные из западных. Греция оказалась даже неспособной* иметь *две палаты*; пробовали учредить какой-то более охранительный *сенат* — не удалось! Все наилиберальнейшие государства Запада (в том числе и Соединенные Штаты Америки) выносят две палаты. Греки (а кстати сказать, и сербы, и болгары) не могли к этой более консервативной форме привыкнуть. Итак, если в главных чертах своих учреждений греки (а также и югославяне) разнятся чем-нибудь от Европы, то разве тем, что, *не имея великих охрани-*

тельных преданий (католических, национально-аристократических, не имея легитимистов, ториев, прусского юнкерства, польской и мадьярской магнатерии и т. п.), они еще легче европейцев делают во всем лишний шаг на пути того же *сословного всесмешения*, которое разъедает Запад со времени провозглашения „прав человека“ в 89-м году.

Вообще оттенки в *учреждениях*, отличающие новую Грецию от Запада, очень ничтожны и *нехарактерны*.

Посмотрим теперь, как отозвалась в Греции национальная свобода на быте и религии. Быт, положим, еще довольно оригинален (смотри „Одиссея“, „Аспазию Ламприди“ и др. мои повести); но он *еще пока* оригинален, кое-где — благодаря турецкому владычеству, кое-где — благодаря спасительной дикости и грубости сельского и горного населения даже и в независимой Греции. Это — оригинальность *охранения (старого)*; а не оригинальность *творчества (нового)*. Охранение же от неразвитости, от отсталости ненадежно; надежно только созидание чего-либо *нового* или полунового высшими, более развитыми

классами, за которыми рано или поздно, хотя или нехотя, идет народ.

Православие в селах очень твердо (тверже, пожалуй, чем в России), но оно неосмысленно, просто, серо и не в силах бороться с афинским поверхностным рационализмом.

Греческое духовенство жалуется, что в Афинах религия в упадке (значит, ослабело *главное обособляющее* от Запада начало); она (религия) гораздо больше дает себя чувствовать в Царьграде, чем в Афинах, и вообще под турком больше, чем в чистой Элладе...

...Я понял с ужасом и горем, *что благодаря только туркам* и держится еще многое истинно православное и славянское на Востоке...

Есть и анекдоты по этому поводу очень выразительные.

Итак, *национально-политическая* независимость у греков оказалась вредной и более или менее губительной для *независимости духовной*; с возрастанием первой — падает вторая.

Разумеется, духовная зависимость от Запада, в которую впадают современные греки,

остывая к Православию, не католицизм (для искреннего стремления в Рим нужно быть все-таки религиозным; надо предпочитать одну мистическую веру другой вере, такой же мистической и церковной). Греки впадают в самую обыкновенную общеевропейскую рационалистическую пошлость... Опять *смешение*, сближение, сходство, *космополитизм идей* и *чувств*.

О быте, о жизни общественной не стоит много и говорить. Здесь — опять одни отрицательные отличия. Городской быт греков — та же Европа, только посуше, поскучнее, поглупее и т. д. Замечу кстати, что в общественном отношении есть даже весьма заметная разница между фанариотами и афинянами — *не к выгоде последних*: фанариоты изящнее, тоньше, умнее в обществе, афиняне — несколько пошлее.

Со дня освобождения эллинов и образования независимого Греческого королевства (из одной только четверти всех подчиненных чуждой власти греков) до 1859-го и 60 годов ничего особенного на почве политического национализма не произошло...

Религиозную идею (Православие) эллинское движение взяло себе только в *пособницы*. Систематических гонений на *само Православие* в Турции не было; но существовали сильнейшие и грубые гражданские обиды и стеснения вообще для *лиц не мусульманского исповедания*. Понятно, что при таком положении дел легко было не отделять *веры* от *племени*. Естественно было даже ожидать, что *свобода племени* повлечет за собою *возвеличение Церкви* и *усиление духовенства* через возрастание веры в пастве; ибо *сильная вера* паствы имеет всегда последствием *любовь к духовенству*, даже и весьма недостаточному. При сильной вере (какого бы то ни было рода, дикой ли и простодушной или сознательной и высокоразвитой — все равно) мистическое чувство и предшествует нравственному, и, так сказать, увенчивает его. *Оно*, это мистическое чувство, *считается главным*, и потому живо верующая паства всегда снисходительнее и к самим порокам своего духовенства, чем паства равнодушная. Сильно верующая паства готова всегда с радостью усиливать права, привилегии, власть духовенства и

охотно подчиняется ему даже и не в одних чисто церковных делах.

В те времена, когда освобождающиеся от чуждой власти народы были руководимы вождями, еще *не пережившими* „веяний“ XVIII века, — эмансипация[45] наций не только не влекла за собой ослабления влияния духовенства и самой религии, но имела даже противоположное действие: она усиливала и то и другое. В русской истории, например, мы видим, что со времен Димитрия Донского и до Петра I значение духовенства, даже и политическое, все растет, и само Православие все более и более усиливается, распространяется, все глубже и глубже входит в плоть и кровь русской нации. Освобождение русской нации от татарского ига не повлекло за собою ни удаления духовенства с поприща политического, ни уменьшения его веса и влияния, ни религиозного равнодушия в классах высших, ни космополитизма в нравах и обычаях. Потребности русской племенной эмансипации во времена св. Сергия Радонежского и князя Ивана Васильевича III *сочетались в душах руководителей народных не с теми идеалами и*

представлениями, с которыми в XIX веке сопрягается национальный патриотизм в умах современных вождей. Тогда важны казались права веры, права религии, права Бога; права того, что Владимир Соловьев так удачно зовет *Боговластием*.

В XIX веке прежде всего важными представляются права *человека*, права народной *толпы*, права *народовластия*. Это разница.

Подобных же сравнительных примеров обоего рода мы можем найти несколько и в истории Западной Европы. И там раньше провозглашения „прав человека“ ни *племенные объединения*, ни *изгнания* иноверных или иноплеменных завоевателей не влекли за собой *либерального космополитизма*; не ослабляли религии; не уничтожали дотла и везде ни дворянских привилегий, ни монархического всевластия... Религия (какая бы то ни была) везде усиливалась и как бы обновлялась после этих объединений и изгнаний. Что касается до монархии и аристократии, то хотя в одной стране первая усиливалась на счет второй, а в другой — вторая на счет первой, но нигде они ни религию, ни друг друга

до полного бессилия не доводили. Всего этого достиг в конце XVIII века и в XIX „средний класс“; все это совершили те „средние люди“, в которых теперь все, и *сверху*, и *снизу, волей* или *неволей* стремятся обратиться...

Всеравняющий дух XVIII века уже пронесся по всему христианскому миру, когда греки подняли знамя своего государственно-национального восстания, взяв идею Православия лишь в сильные пособницы своему эгалитарному либерализму. Без народа нельзя бунтовать, а народ греческий и до сих пор *весьма* православен.

Выражение *эгалитарный либерализм* я здесь употребляю не в смысле стремления греков к свержению власти *неравных* с ними, *привилегированных, стеснявших* их мусульман, — а по отношению к социальному составу их собственной греческой среды и *под турком*, и *без турка*.

В Турции и в то время не было глубоко выработанного сословного строя. Не входя в подробности, можно вообще сказать, что в этой империи было только два главных слоя: мусульмане и „райя“[46]. Эти два слоя, *оба весь-*

ма равенственные в своей собственной среде, были очень просто и грубо наложены завоеванием один на другой. Были в среде христиан привилегии, дарованные там и сям иноверной властью; но эта неравноправность имела характер более *провинциальный*, чем *сословный*; более *местный*, областной или муниципальный, чем *родовой или наследственный*. Имела, конечно, в старину и там родовитость некоторый вес, но очень шаткий. Действительно же прочные привилегии против массы мирского населения имело „под турком“ только *православное духовенство* (в то время почти сплошь греческое). Патриархи и епископы являлись перед Портой официальными представителями, заступниками христиан и в то же время начальниками их и даже во многих случаях бесконтрольными судьями... Что касается до мирян православных, то, кроме духовенства, определенных юридических слоев в их среде не было. Все держалось обычаем, и преобладали, конечно, только богатство и грамотность, — как преобладали они везде, где нет ни силой, ни законом утвержденного дворянства...

И вот в южных частях Балканского полуострова и на некоторых островах иго мусульман свергнуто (с помощью России) к 30-му году.

Греки новой Эллады свободны...

Повторять ли и здесь то, на что я уже указывал прежде... Я думаю — не нужно?

Дворянства нет; синод вместо Патриарха (т. е. форма против светской власти более слабая), духовенство устранено от прямого влияния на гражданские и политические дела... Конституция в высшей степени либеральная *с одной только палатой*, т. е. без тормоза... Неслыханное множество газет на столицу, которая меньше нашей Одессы... *Фрак и сюртук* европейской буржуазии, господствующие de facto[47] над дикой и своеобразной поэзией *шальвар и фустанеллы*[48]. „Корсар“ Байрона стал чернорабочим или простым мошенником проезжих дорог. Он ездит на козлах кареты или коляски *европейского иноверного* короля, *по-европейски одетого*. Король Оттон и супруга его еще любили оба носить греческую одежду. Это им не помогло, и король Георг уже не находит это нужным для популяр-

ности. *Никто уже из греков, видно, не нуждается в этом*. В европейском „проще“; „все так нынче одеваются“. „Это удобнее!“ И так далее. Пышная, изящная фустанелла с престола попала *на козлы!..*

Это тоже *символ* времени; символ все большего и большего претворения всех местных, истинно национальных особенностей, столь живописных и возбуждающих дух любви *к своему*, — в одном всеобщем стиле общеевропейской прозы.

Эдм[он] Абу писал свой памфлет „Современная Греция“ против свободных греков в 50-х годах, под влиянием досады на них за то, что они были на русской стороне во время дунайской и севастопольской борьбы. В его книге много преувеличений, но много и злой правды.

Абу прежде всего сам именно то, что я предлагаю называть для ясности „средним европейцем“. Умеренно либеральный француз; нравами и обычаями европейской буржуазии вполне довольный; религии демократического прогресса поклоняющийся; ко *всякой* „ортодоксии“ равнодушный; любящий, как мно-

гие, эстетику *искусства*, не понимая ничего в эстетике *жизни*... и т. д... Одним словом, это несколько более других способный и довольно даже остроумный представитель именно того общеевропейского типа, одна мысль о котором приводит иногда в истинное отчаяние того, кто вообразит, что этот тип есть разгадка и венец всей истории человечества.

Абу — это именно тот несколько более других „средних людей“ крупный „средний человек“, „genre“[49] которого так справедливо ненавидел бедный и гениальный Герцен, сбившийся со столь естественного в нем, московском барине, религиозного и аристократического пути.

Этот Абу в своей книге гневается на то, что греки свободной Эллады *слишком любят Россию*; на то, что они *слишком набожны и православны*; на то, что про западных христиан они говорят: „Это худо, крещеные собаки“ (это его слова, а не мои). Он издевается над афинскими молодыми людьми того времени (50-х годов) за то, что они на вопрос: „Куда вы идете?“, *отвечают очень просто и не смущаясь*: „Я говею; иду к своему духовнику“. Ему это

прямое и простое отношение к религии отцов, эта набожность в человеке, кой-чему обучившемуся и по-европейски „чисто“ одетому, — кажется и глупой, и даже удивления достойной!..

Абу пророчит между прочим, что „через *сто* лет не останется ни одной фустанеллы на свете“. „Не будет больше *паликаров*“ (то есть молодцов, носящих греческую одежду).

Теперь этот развязный шелкопер, называющий себя учеником Вольтера, был бы, вероятно, гораздо довольнее греками свободной Эллады. Самодержавную Россию они разлюбили (отчасти по нашей вине, отчасти же *и по собственной*).

Если они нейдут и не пойдут, вероятно, против нас слишком открыто и слишком сильно, то это лишь потому, что болгары теперь идут против нас и что мы болгарами недовольны. *Говеть и не стыдиться говения* (я *заглазно* уверен в этом!) многие за истекшие 30 лет уже перестали. „Фустанелла“ попала на *козлы*...

И, конечно, если не будет у нас в России (да, *главное* в России) глубокого поворота в

духе по окончанию Восточного вопроса (*на Босфоре и Дарданеллах*); если у нас в России *взгляды, подобные моим*, не возьмут верх *надолго*... Если не станет ненавистен нам именно тот тип *развития, к* которому принадлежит сам Абу, то не нужно ждать и *ста лет*!

Гораздо раньше этого не только „фустанеллы“ и православной набожности в Греции, но и вообще ничего в ней греческого, кроме языка, не останется!

Только русские, *переменивши центр своей культурной тяжести*, могут стать во главе *нововосточного* движения умов и перерождения жизни...

Греки *очень хороши*, очень содержательны, очень симпатичны даже, пока их сравниваешь только с югославянами. Они во всех отношениях выше их. Но и только! Ведь это похвала невысокая — „в царстве слепых признать кого-нибудь *кривым лишь на один глаз* “.

Мой идеал ясен, если не в подробностях положительных форм, то, по крайней мере, в отрицательной основе своей: *как можно меньше современно-европейского во всем*.

Греки же новые в высшей степени падки до *стиля Абу* и даже не видят и не сознают того, до чего они европейцы, в самом дурном значении этого слова.

Дух свой они полагают только *в языке* и в *сильном племенном* государстве, о котором они мечтают издавна и тщетно.

Я говорю о *государстве*; я не говорю о *государственности*, т. е. о *своеобразном, глубоком строе политических учреждений*. Это уже *культурная* точка зрения.

Этого у них вовсе нет и едва ли будет...

Нынешние греки, бесспорно, имеют важное в современной истории значение, но это благодаря лишь своему древнему и славному *монашеству*, которое владеет четырьмя Патриаршими Престолами и являет и теперь еще образцы великого аскетизма на Святой Афонской Горе и на Синае.

Но с истинным ужасом надо сознаться, что и эти столпы Православия поколеблены несколько за последние тридцать лет совокупными усилиями: болгарской *революционной интриги*, русской *племенной политики* и *рационализмом собственной эллинской ин-*

теллигенции.

...У нас, русских, при нашей вялости и при каком-то всевыжидающем бесстрастии (*именно там, где страстность была бы спасительна*), нет уменья вовремя узнавать в организме своей Церкви и своего государства *те же самые болезни, которые губят Запад*! Мы не узнаем того же худосочия лишь потому, что у нас весьма второстепенные припадки его имеют несколько иной внешний вид, чем на Западе.

Мы у себя, на Востоке, медленно подтачиваем и подмываем *то*, что в западных странах ломали ломом и взрывали порохом люди более нас убежденные, страстные и энергические! И ко всему явно или тайно, но примешан этот *племенной* принцип, в *чистоте* своей губительный для всего того, что дает истинную жизнь человечеству; губительный для религии, для государственности и даже для эстетики!.. *Не для* эстетики „отражений“ на полотне или в книгах, а для эстетики *самой жизни*, — ибо без мистики и пластики религиозной, без величавой и грозной государственности и без знати блестящей и прочно

устроенной — какая же будет в жизни поэзия?.. Не поэзия ли всеобщего *рационального мещанского счастья*?

Возвращаясь опять к более и более освобождающейся в этом веке новогреческой национальности, необходимо прибавить еще, что и тот в высшей степени важный элемент, греческое монашество, об ослаблении которого я с сокрушением сердца только что говорил, держится еще и сильно иногда влияет в греческой мирской среде, преимущественно благодаря тому, что *греки еще не достигли своего полного национального освобождения и объединения...*

Если бы предположить, что греки достигли своего наиполнейшего (возможного в их мечтаниях и невозможного, слава Богу, на деле) объединения *даже со столицей в Царьграде*, то чего бы можно было ожидать по прежним примерам?..

Конечно, глубочайшего падения Православия — и больше ничего!

Теперь греческая „интеллигенция“ еще держится за Патриархов, за духовенство свое и на монастыри не может посягнуть прямо,

минуя турецкую (столь часто, увы, спасительную для христианства) власть! Эта самодовольная в мелком европеизме своем интеллигенция держится за *Церковь в Турции* лишь потому, что она до поры до времени ей оплот и удобный представитель среди иноверных сил и иноплеменных влияний...

Я сам знал лично и таких людей между образованными и весьма влиятельными греками, *которые пламенно желали в 72-м году церковного разрыва не только с болгарами, но и с Россией и употребляли все усилия, чтобы довести до этого безумия свое духовенство*. Духовенство же, хотя и недовольное русскими за их эмансипационное болгаробесие, не позволило себе такого неканонического шага.

Некоторые из мирских греков мечтали даже, что, именно оторвавшись от славянства, они *создадут* новую, свою особую оригинальную *религию*! Как это на них похоже! Таков, между прочим, был в 72-м году *г. Марули*, человек очень образованный и способный, восседавший немного позднее на *боннской конференции, как представитель строго догматического Православия*.

В 72-м году, в городе Серресе, в доме г. Конто, русского „ad honores“[50] вице-консула, он сказал мне так:

— Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что греческое племя, уже давшее миру прежде две великие религии — древнеэллинскую и православную, — в силах создать и третью, тоже великую...

На это я ему ответил так:

— Для того чтобы создать, как вы говорите, новую веру, надо самому сильно веровать; нужно иметь глубокие мистические порывы и потребности. А я именно этих-то порывов и потребностей не вижу вовсе ни в вашем образованном классе, ни в народе, хотя и живу с ним здесь в дружеском общении вот уже скоро десять лет. В России этих чувств в высшем классе общества гораздо больше, чем у вас. Мы начинаем пресыщаться рационализмом, а у вас он только что начал расти. Отделясь от России, вы только разрушите свою Церковь и повергнете нацию вашу в безбожие. У нас и мужики создают секты под влиянием мистических стремлений, а у вас, кроме чистого деиста Кайра, в этом роде не было никого.

Умный Марули внимательно поглядел на меня через золотые очки свои и задумчиво замолчал»[51].

Леонтьев подводит итог, говоря, что национальное освобождение принесло «свободным эллинам» некоторое «отрицание относительно религии, довольно, впрочем, *осторожное*... Не по-болгарски дерзкое и преступное...» «И во всех других отношениях» они не проявили «ничего особенно национального, кроме политического патриотизма; ничего творческого, ничего поражающего. Ничего, кроме самой обыкновенной европейской демократии... Современная довольно грубоватая французская буржуазность, переведенная на величавый язык Иоанна Златоуста и Фукидида, — и только... вот плоды так называемого национального возрождения греков»[52].

«При торжественном объявлении схизмы греки увлеклись весьма дурными расчетами.

В жажде объявить схизму совпали у них два совершенно противоположных направления, две наиболее могучие движущие силы их народности. С одной стороны, преданность старого духовенства строгости Православия,

то самое свойство греков, которое отстояло до нашего времени Церковь, ее дух и ее дисциплину от ересей, папства и турок.

С другой, желание отделить свою греческую народность от славян и России, спасти ее от „потока панславизма“, под маской строгого Православия выработать постепенно вовсе новую религию. Старый греческий архиерей и молодой адвокат, журналист, профессор, воспитанный в Европе, не верующий ни во что, кроме прогресса и гения новых греков, оба они совпали в желании воспользоваться канонами и объявить схизму.

Гнев старых иерархов на болгарскую дерзость и радость молодых мечтателей при мысли об отделении от славян соединились дружно к одной цели, но с разными надеждами и побуждениями»[53].

Ревностные к православию надеялись, что русские объявят болгар раскольниками и болгары смирятся тогда перед ними. Объявляя схизму, они надеялись сохранить чистоту и строгость Православия — дух своей нации.

Англо-немецкие идеалисты из греков желали воспользоваться расколом, отделиться

от России, найти покровительство у Англии и Германии и тем самым спасти свою малочисленную в сравнении со славянством народность от «панславизма», который они представляют не иначе, как государственное объединение всех соседних славян численностью в 120 миллионов едва ли не прямо под Русской державой. В отличие от старого духовенства «новые греки», афинские «свободные эллины» стояли не за дух, а за плоть своей нации. Воспитанная по-европейски интеллигенция из «новых греков» в печати обрушила свой гнев на Россию, обвиняя русских в полной солидарности с болгарами.

Говоря о славянах, наших единоверцах, Леонтьев отмечает, что благодаря их освобождению (эмансипации), которому способствовала Россия, они становились все больше похожими на европейцев. А «*просветившись несколько по-европейски* (отчасти и с нашей помощью), *перестали нас слушаться*»[54].

История сделала так, что болгары оказались к России ближе, чем другие славяне. Леонтьев в 1873–1874 годах писал, что у болгар нет своего государства, нет столицы, нет

высших училищ, как у сербов и греков; газеты их бедны, миру неизвестны. Болгары «представляются во всем жертвами, угнетенными, забитыми»[55]. Леонтьев пишет:

«Болгары... и по географическому положению своему к нам ближе, и по государственному сиротству своему имели всегда особые нравственные права на наше внимание и по бедности прежней своей не имели средств на учреждение болгарских гимназий. Между ними большее число молодых людей воспиталось и воспитывается в России, и это хотя и незаметно, однако довольно сильно связывает их с нами. Но связь этого рода никак не значит ни в принципе, ни на практике (как оказалось) покорность русскому влиянию, подчинение болгарских интересов русским, а, как большею частью случается в подобных случаях, эскамотаж[56] русского образования на пользу болгарских особых интересов; эксплуатация сил для целей собственно болгарских...

Давно уже Россия не ведет болгар, а болгаре идут сами, куда хотят, и надо опасаться только одного, чтобы из русских многие не

вообразили, что и нам выгодно идти за ними...

Не врагов непримиримых православным грекам и Восточным Церквам, которые были столь долго нашею опорой в восточных делах, хотела, конечно, воспитать Россия в болгарах, но людей ей и ее православным интересам приверженных.

Не вина России, конечно, что обстоятельства переросли, наконец, ее средства в этом вопросе.

Не вина России, что все эти народы Востока, выросшие под крылом ее, хотят уже жить по-своему, не справляясь с ее выгодами, не понимая даже иногда, чем и как они могут вредить ей»[57].

Леонтьев «указывает в главных чертах на ту перемену, которая произошла в русской политике после окончания Крымской войны», неудачной для России, и на «эмансипационность», умеренную либеральность «наших действий на Востоке»[58]. Болгар, подвластных Турции, устрашать или наказывать «мы могли бы *тогда* только через посредство турок; а этого мы (в то время особенно) не

могли себе позволить: руки наши были связаны. На Западе у нас и так было много соперников по влиянию на славян, и они всякой строгостью нашей к ним конечно бы воспользовались, чтобы уменьшить нашу популярность, которой одной мы только и дышали, не смея воевать. Болгары поэтому и *не боялись* нас ничуть. И хотя они не действовали против нас тогда открыто, как действуют теперь, очертя голову, но постоянно ускользали из рук наших, обманывали нас и делали *совсем не то, что мы им советовали*. Наш „либерализм“ казался им всегда недостаточным; он никогда не удовлетворял их.

Граф Игнатьев, например, сам лично был популярен в болгарской политикующей среде, но и он в этой среде считался недостаточно *крайним*, недостаточно болгарофилом, — казался слишком осторожным противу Патриарха, *слишком православным*. Болгарам всего было мало; они швыряли те умеренные брошюры о примирении с греками, которые в то время издавал соотечественник их русофил Бурмов, и говорили: „Это не болгарские, а русские взгляды“. Турок они предпочитали

Патриарху и грекам, утверждая, что турки вредят им только „внешним образом“, но что против преобладания греков и духовенства их они будут бороться до тех пор, пока не освободят *от церковной власти Патриарха всё до последнего болгарского села, даже и в Малой Азии*! („Филетизм“)

Мы же хотя и готовы были им потворствовать в их „лженациональном“ освобождении, но *непременно путем соглашения с Патриархом*, а не путем раскола и вражды. Разрыв церковный произошел все-таки вопреки нашим долгим и примирительным стараниям, — хотя отчасти и по некоторой неосторожности нашей. Мы стали, сказал я, либеральнее, чем в 40-х годах; но все-таки мы останавливались с почтением перед властью Церкви и перед ее древними уставами. Болгарские же демагоги не хотели ничего этого знать... Они входили в соглашение с турками и представителями католических держав, когда видели, что наше посольство не хочет потворствовать им *до конца. Они прямо жаждали раскола, тогда как мы всячески старались предотвратить его*. Мы не успели в этом, мы

не могли предотвратить его; но я, служивши сам в то время в Турции, никак не могу судить за это наше посольство так строго, как судят его другие православные люди.

Болгары, не имея никаких оснований нас бояться тогда, пересилили нас. Посольство наше даже в последнюю минуту было нагло ими обмануто. Они, согласившись тайно с турками, 6 января 1872 г., на рассвете, *почти ночью*, объявили в церкви свою независимость от Патриарха. У нас в посольстве узнали утром о „совершившемся факте“ *своевольного отложения* уже тогда, когда возврат к порядку был невозможен без объявления войны турецкому султану.

От такого грубого обмана кто же может быть застрахован! От него не предохранят ни таланты, ни желание добра. *Насилие, война за веру*, победа — вот единственные средства, которые были тогда у нас в руках и которых мы не захотели употребить прямо, разумеется, по *недостатку религиозности*...

Передовые греки желали посредством раскола оторваться от России и всего славянства... У многих афинских греков, старавших-

ся всячески довести дело до созвания собора и до проклятия, была при этом не православная, а чисто племенная мысль...

Они надеялись и довольно глупо мечтали, что русский Святейший Синод открыто, наконец, заступится за болгар и объявит их правыми. И тогда можно будет и русских объявить раскольниками; можно будет совершенно отделить судьбы своего племени от судеб славянского.

Передовые болгары желали, посредством того же раскола, отделиться сперва от греков, — а потом (мечтали многие из них; *даже и духовные лица*) *„надо окрестить султана, слиться с турками, утвердиться в Царьграде и образовать великую болгаро-турецкую державу, которая вместо стареющей России стала бы во главе славянства“*...

Вот каково было тогда с обеих сторон настроение наших единоверцев! Вот как охотно приносилась в жертву религия все тому же *чисто племенному началу, все тем же национально-космополитическим порывам*! Я говорю космополитическим, ибо ни новые греки, ни тем более югославяне не проявляли и не

проявляют ни малейшей наклонности к такого рода мистическим движениям, которые, отдаляя их от Православия, могли бы привести к созданию какой-нибудь *действительно национальной* (т. е. своеобразной) ереси, вроде нашей хлыстовщины или секты мормонов. Это было бы гибельно для личного спасения души тех людей, которые бы этой ересью увлеклись; это было бы очень вредно для всей Церкви нашей; *но это заслуживало бы, по крайней мере, название национального творчества, название даже особой местной культуры...*

Итак, болгары в большинстве были против *православной* России во время этой *племенной* борьбы, столь бессовестно игравшей вековой святыней нашей. Передовые греки также были против нас и Православия, защищая его *каноны* только для *вида*, для отпора славянам. *Кто же* в эту тяжкую годину испытаний оставался верен *не нам собственно* (ибо мы этого и не стоили), *но общим с нами основам*?

Остались верны этим основам, остались верны Православию, его древним правилам,

его духу — только *те самые греческие епископы турецко-подданные*, которых у нас изловчились для отвода глаз звать какими-то „фанариотами“! Такими „фанариотами“ были и наш Филарет, и Димитрий Ростовский, и Стефан Яворский, и Сергий Чудотворец!

Они прокляли болгарский „филетизм“ на соборе 72 года, но *не допустили* крайнюю греческую партию взять верх и *дойти до разрыва с Россией*. По форме русское духовенство не сделало тогда никакой грубой ошибки. Не нарушая канонов с своей стороны, нельзя было поэтому и греческим иерархам отделиться от нас. Нарушать же каноны они не хотели. Относительно болгар они были согласны со своими эллинскими демагогами и поддавались им, ибо болгары нарушали каноны; относительно же России они остались непоколебимыми и верными законам и преданиям, несмотря на все скорби и обиды, которые причиняло им тогда наше сентиментальное болгаробесие»[59].

Леонтьев раскрывает понятие национальной политики России:

«Восточное Православие, независимо от

своего прямого и *личного* религиозного смысла, который может быть *открыт* человеку всякого племени и подданному всякого государства, имеет для России еще, сверх того, и особый смысл *национально-государственный* и *национально-культурный*. Национально-государственный потому, что Православие есть для большинства русских граждан главная связующая их воедино духовная сила; воедино — от Царя и знати до нищих и даже каторжников. Национально-культурный смысл потому, что при недостаточно самобытной выработке у нас всех других отраслей жизни Восточное Православие есть самый основной, резкий и глубокий национальный *признак*, отличающий и отделяющий нас и от западных, и от восточных (иноверных) соседей наших...

Кроме всего этого, Восточное Православие имеет для нас еще и *третье*, весьма важное значение; оно есть еще, сверх того, и *внешнеполитическая* сила в наших руках, благодаря существованию на юго-востоке Европы *четырех* тоже православных наций, небольших и несильных, но в совокупности своей имею-

щих в политике значительный вес. Этот вес удваивается еще и важными географическими условиями их положения.

Одним словом, Православие есть сущность русской народности.

Поэтому казалось бы самым естественным делом назвать национальной ту политику, которая не только в пределах своего государства, но и за пределами его поддерживала бы *именно эту* народную *сущность* во всех ее проявлениях.

Однако, когда в 60-х и 70-х годах все более и более распалялась распря между Вселенским Патриархом и болгарской частью его паствы, *национальной* политикой считалась в России не *защита* одного из главных духовных представителей Православия (этой *сущности* русской национальности), а поддержка бунтующих против него и *канонически неправых* болгар.

Главные два проповедника национальной у нас политики, Катков и Аксаков, *оба* были до конца жизни своей на стороне *сродного племени* и против иноплеменных представителей нашей *духовно-культурной сущности*.

И не только публицисты наши, но и само тогдашнее правительство, в лице графа Игнатьева, князя Горчакова и графа Д. А. Толстого (бывшего в то время обер-прокурором Св. Синода), вело тогда нашу политику в смысле *племенном*, а не в смысле поддержки церковных *основ* нашей народности...

И все называли тогда *такую* политику (племенную) — *а не* обратную — *национальной*. Тех же немногих, которые были *богобоязненнее* „или искреннее“ Каткова и дальновиднее Аксакова (Т. И. Филиппова, Н. Н. Дурново и меня), — звали *греками, фанатиками-фанариотами*, представителями „казенного“ Православия и т. д.

Итак, в этом случае выражение „национальная политика“ означало не политику религиозно-национальных *основ*, а политику *племени*, племенную, и вместе с тем *противоосновную* (революционную)...

Истинно-национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать *не голое*, так сказать, *племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой*. Политика право-

славного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти, агитации болгарского „мяса“... Национальное же начало, понятое иначе, *вне религии*, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года, начала всеравенства и всесвободы, те же идеи, *надевшие лишь маску мнимой национальности*. Национальное начало вне религии не что иное, как начало эгалитарное, либеральное, *медленно*, но зато *верно разрушающее*...

Заблуждения дипломатов в греко-болгарском вопросе происходят, конечно, не от добродушного искания *человеческой, прогрессивной правды* на земном шаре — искания, неприличного их высокому званию, опыту и уму, но от той ложной мысли, будто бы Россия должна для *выгод своих*, для укрепления собственной силы, во что бы то ни стало *угодить* югославянам, и в особенности этим болгарам, отныне и впредь долженствующим стать верными проводниками руссизма на Востоке. (Хороши проводники, ратующие против той самой Церкви, которой учение и предание возрастили Россию! Хорош руссизм — бельгийская „говорильня“ с хамоватыми ате-

истами во главе!)»[60]

Болгарские демагоги знали, «что русское общество равнодушно к церковным делам и считает их *формалистикой*, что русская дипломатия боится перехода болгар в униатство *гораздо больше, чем нужно этого бояться... Они заставили Россию идти за собой с повязкой на очах!*»[61]

Наш либерализм, по словам Леонтьева, поставил болгар «в привилегированное и даже самим им вредное положение»: «все болгарские интересы считались почему-то *прямо русскими интересами*; все враги болгар — нашими врагами... Греки у нас давно уже известны под бранным прозвищем „фанариотов“: „они суть *льстивы до сего дня*“...

Мы дорожим верой нашего народа. Этой верой дорожат даже многие из тех русских, которые сами в церковь молиться не ходят или ходят редко, больше из национального чувства, чем по вере.

Неужели же мы не видим связующей нити? Мужик идет в Оптину пустынь или Тихонову, или в Киев, в Печерскую Лавру, или в Соловки. Что он там мыслит, что видит, чему

научается? Откуда все это к нам пришло? Не с Востока ли?.. Не от греков ли? Не в руках ли греков и доныне Иерусалим, Афон, Синай? Не к Царьграду ли, как центру общецерковного влияния и средоточию церковного управления, тяготеют все эти Святые Места?..

Что может нам дать взамен всего этого величия бессодержательная, зеленая, лишенная серьезных преданий, сама своего глубоко революционного (т. е. *либерально-эгалитарного*) духа не сознающая болгарская народность? У болгар нет Святых Мест, нет древних церковных средоточий, нет великих неподвижных звезд Православия, разливающих свой свет повсюду, даже и в наше печальное время жалких прогрессивных надежд и устарелых европейских мечтаний.

Что думать о народе, который возрождение свое начал прямо с борьбы против той церковной иерархии, правила и дух которой легли в основу его жизни, уставы и обычаи которой сохранили его в течение веков под гнетом иноверной власти?..

...Я понял, что они бестрепетно готовы потрясти всю Церковь и нарушить весьма суще-

ственные и важные уставы ее в пользу своей неважной и, видимо, ни к чему замечательному не призванной народности...

Всякий человек, претендующий на знание Востока, должен сознаться, что главные два столпа Православия — это Русское государство и греческая нация. Это две *качественные* силы — все остальное лишь количественный контингент...

Россия и Греция обвенчаны историей духовным союзом, и расторжение этого союза было бы губительно для обеих сторон если не сегодня, то не в далеком будущем. А фанариоты? — спросят меня.

Вопрос о фанариотах вовсе не так прост, как думают. Вопрос о фанариотах есть вопрос сложный и очень сложный. Здесь не место разбирать его подробно. Скажу лишь, что его у нас или вовсе не знают, или умышленно игнорируют.

Я могу утвердить лишь одно: фанариоты самые главные охранители в православном смысле эллинизма на Востоке, и раз мы будем близки к ним — они будут для нас самыми надежными друзьями, тогда, говорю я, когда

мы будем очень близки»[62].

Леонтьев считает, что обоюдная польза, спасение коренное было бы в том, чтобы притягивать к себе, к России, Патриархию и вообще ту часть греческого духовенства, которое еще не вконец испортилось национальным фанатизмом, и этим вырывать его из эллинских рук. Ибо цареградское духовенство, хотя и раздраженное против славян, все-таки знает хорошо, что афинские эллины и деисты очень желают разрыва и раскола с Россией, между прочим и для того, чтобы у себя потом раздавить и растоптать постепенно свое духовенство, чтобы оно не мешало им более портить и по-своему просвещать греческий народ.

Но, как говорит Леонтьев, «примеров русского незнания, русских заблуждений, русской *фразы* нет конца!..

Одна ничтожная заметка Нестора о *льстивости греков* сколько наделала вреда!..

Мало ли что могло показаться летописцу. И он был человек „немощный“, как и все люди; и он мог заблуждаться. Надо принять в соображение и то, что византийские греки бы-

ли в то время гораздо образованнее русских и уже по этому одному казались ему хитрее всех других людей, *льстивее, лукавее...*

По поводу подобных *древних* наблюдений, не всегда удобно применимых к нашему времени, я вспоминаю ответ, данный мне одним очень молодым кандиотом простого звания. Нынешние критяне вообще очень симпатичны, и самая хитрость их не груба и не противна, а, напротив того, имеет в себе что-то мягкое, веселое и ласкающее... Этот же юноша, о котором я вспомнил, был воплощенное простодушие и честность... Я что-то спросил у него, он ответил... „Я не верю тебе; ты лжешь, — сказал я ему шутя, — апостол Павел говорит, что критяне все лжецы“.

— Когда, когда жил апостол Павел!! С тех пор сколько перемерло народу. Все люди переменились, — возразил мне, смеясь, молодой грек.

Авторитет апостола Павла важнее авторитета нашего летописца; однако в этом случае не руководиться исключительно замечанием апостола будет так же не грешно, как не грешно согласиться, что русло какой-нибудь

реки или глубина какого-нибудь озера, упоминаемого в Священном Писании, изменились с течением веков...

Мне случилось слышать эту фразу Нестора „греки льстивы до сего дня“ от очень серьезных людей, от людей умных и даже... от людей государственной службы... Правда, тут есть разница; ученые, исключительно кабинетные, нередко бывают наивны и сентиментальны в политике, не понимают иногда и вовсе того, что государственная, так сказать, психо-механика не может руководиться одними „моральными“ соображениями и вкусами. Они часто не знают, что действия и противодействия естественной международной борьбы должны основываться как можно менее на личных симпатиях и увлечениях, хотя бы и целых масс, ибо тогда не следовало бы воевать против турок, так как известно, что *лично* многие из них честны, просты сердцем, приятны в частных сношениях и делах, даже очень добры и мягки в мирное время и пока не распалено до безумия их религиозное чувство...

Но люди *государственной службы* всё это

знают, и почему они тоже упоминают некстати в разговорах своих о словах Нестора, я понять не могу! Так, плохое остроумие какое-то. А в мыслях у них *совсем другое*...

Такого рода людям всегда понравится, например, русский „кулак“ — консерватор, очень хитрый в частных делах и непоколебимый, искренний в религиозных и государственных убеждениях своих. И мне такой человек нравится, и я его уважаю; но мне нравится не менее его и православный грек точно такого же „стиля“ или закала; а некоторые дипломаты наши, хваля подобного русского, в то же время грека, на *него очень похожего* и ему равносильного и по твердости верований, и по *личным слабостям*, непременно назовут *льстивым* (т. е. лживым) фанариотом»[63].

Леонтьев не забывает, что и во времена просвещения Киевской Руси Христовой верой греки, при всей их искренности в этом святом деле, оставались все же верными и интересам своего государства. Таким был и сам Леонтьев. «Кто же не льстив в политике? — размышляет он. — Всякий обязан быть в государ-

ственных делах если не грубо лжив (это тоже иногда *невыгодно*), то *мудр яко змий*...»[64] Мыслитель, без колебания отдававший свою личную волю, свою частную жизнь в распоряжение духовника, при всей своей преданности афонским старцам удерживал в церковно-государственных вопросах независимое от духовника мнение.

Подобное поведение тогдашних греков могло вызвать у русских подозрение в лукавстве.

В начале 1870-х годов, в печальное время ожесточенной борьбы наших единоверцев, Русская Церковь заняла выжидательную позицию. Она не ответила ни на письмо болгарского экзарха, ни на послание Константинопольского Патриарха Анфима, оставаясь в то же время вне полноты канонического общения с болгарской Церковью.

«...Св. Синод и правительство наше в 72-м году поступили с большою мудростью, *воздерживаясь и от Вселенского собора, и от всякого прямого вмешательства и решения*.

Оно, может быть, было бы *по-человечески* искреннее и прямее ответить письменно или

собрать Вселенский собор. Но вот в чем было опасное и великое затруднение: *письменный, ясный* ответ отсюда *после схизмы*, вероятно, был бы в первую минуту до того благоприятен болгарам, что мог бы привести нас к разрыву с греками. *Крайние, враждебные России эллины, под влиянием английских интриг, пламенно этого желали. Самые серьезные и честные из греческих охранителей этого боялись.*

Церковный же разрыв русских с греками был бы и для нас, и для них, и даже для юго-славян таким бедствием, о котором и подумать страшно!

Греки остались бы все-таки *церковно* правее всех; но они сделались бы совершенно бессильными, попали бы окончательно в руки своих „красных“ и очень скоро стали бы добычей или Англии, или Италии и Франции, или тех же юго-славян, против которых мы тогда бы, конечно, защищать их уже не имели бы особых причин.

Славяне же, с Россией во главе, продолжая совершенно напрасно считать себя архипра-вославными, очень быстро впали бы в ка-

кую-нибудь полулиберальную ересь с женатыми (например) епископами, без постов, без монашества и т. д. Или бы распались на два лагеря; представители одного, верные преданиям, остались бы с греками, а приверженцы другого дошли бы на воле до каких угодно крайностей пустоты.

Таковы могли бы быть последствия письменного ответа *отсюда в то время*, после местного Цареградского собора 72-го года.

Но Господь сохранил нас от этого ужаса!

Что же касается до собора Вселенского, то *там*, на месте, под влиянием формальной (т. е. *верной основной сущности*) греческой правоты, иерархам нашим пришлось бы осудить болгар; и тогда или все болгары перешли бы в униатизм (ибо к этому они, как всем известно, гораздо склоннее греков), или тоже разделились бы на две части: на *покаявшихся православных и на униатов*. В этом случае югославянский элемент уже слишком бы тоже ослабел в Турции, и невозможны бы стали события 76—78-го годов.

Падение Турции задержалось бы дольше, чем нужно для будущности Востока; или бы

стала возможнее эллино-византийская империя, что для *Православия хуже всего*; ибо *два слишком сильные православные царства,* Россия и сильная морская, богатая, торговая Эллада, пребывая в постоянной и неотвратимой борьбе, растерзали бы и самую Церковь. Именно *два* преобладающие царства опаснее *многих* единоверных и неравносильных царств для мира Церкви. Вот почему я сказал, что *факты в одно и то же время и церковнее, и словно случайно с виду* (а, несомненно, по смотрению Божию) *премудрее всех соображений наших*.

Сила Божия и в немощах наших познается...

Русская иерархия воздерживается от явного вмешательства... Она остается формально правою, *к отчаянию афинских демагогов*!..

Напрасно ждал афинский прогрессист от России грубой племенной политики!..

Святейший Синод после объявления схизмы безмолвствует. Он, как слышно, твердо решился не отвечать, „пока на Востоке не успокоятся страсти“.

Официальная Россия в лице генерала Иг-

натьева чтит Патриархию. Он едет к Патриарху на праздник парадно: в мундире, орденах, с огромной свитой; к экзарху болгарскому, если случится, официальная Россия заезжает в будничном штатском платье, так, как может заехать ко всякому турку-дервишу.

Еще попытка... Афон. Секвестры бессарабских имений...»[65]

В то время со стороны русских властей были допущены «неудачные», по выражению Леонтьева, распоряжения по отношению к греческим на Афоне монастырям, которые имели свои имения в Бессарабии. Попытка отобрать эти имения не была сообразна ни с силой России, ни с ее достоинством. К тому же святогорские монастыри были вовсе не виновны в увлечениях и ошибках греческой нации и Патриархии.

«...Вот придирка в руки афинскому либералу!.. Россия хочет вступить на узкий путь князя Кузы[66]... „Нас, греков, хотят испугать; хотят затронуть наши корыстные чувства... Тем лучше, — воскликнет прогрессист-патриот. — До сих пор наши монахи были почти все за Россию. Теперь будет иное... И строгий аскет,

которому лично ничего не нужно, усомнится впервые в России... Он скажет: не мне нужны деньги; Церкви нужна внешняя вещественная сила... И он отвратит лицо свое от России и впервые поверит нам, афинянам, когда мы скажем ему: видишь, отче, ты ничего не знаешь, что делается на свете... Теперь Россия уж не та, которую ты знал и за которую ты так пламенно молился в своем уединении“.

Однако и эта радость не была продолжительна!

Русское правительство объявляет во всеуслышание, что оно бессарабские имения считает неотъемлемою собственностью Святых Мест, что оно не конфискует их никогда, но налагает на них как бы временную опеку вследствие беспорядков в управлении ими.

Оно уже снова высылает доходы греческим монастырям.

Но все-таки толчок дан... Буря, которая кипела в Царьграде, в Иерусалиме, в Антиохии, отозвалась наконец и на тихом Афоне!»[67]

Леонтьев отмечал, что, несмотря на то, что в афинском правительстве преобладали в то время эллины вовсе не дружественные ни

нам, русским, ни Православию вообще, в простом греческом народе, особенно среди турецких подданных, политическая преданность православной России была еще велика. Простые греки по-прежнему серьезно смотрят на Православие, им еще страшно вымолвить слово против Православия, но и они уже начинают бранить Россию за потворство схизматикам[68].

Монахи афонские тем более в подавляющем большинстве жили своей особой жизнью: не греческой, не болгарской, не русской. Некоторое исключение составляли только богатые проэстосы из монастырей идиоритмических (необщежительных). Эти проэстосы в монастыре имели несколько комнат, в банках или своих сундуках — большие деньги: «они сидят в шелковых рясах на широкой софе турецкой, курят наргиле[69], едят мясо в скоромные дни»[70].

Они представляют свою обитель, а по нужде и весь Афон, ездят в Афины, Стамбул, Одессу, Кишинев и т. д. Своей светскостью, своим богатством, связями, своим весом они бывают иногда в высшей степени полезны всему Афо-

ну: за проэстосом и аскету легче совершать свои подвиги[71].

Раздражение у греков, по словам Леонтьева, «росло, но преимущественно в городах, а на Афоне все это для большинства монахов, занятых молитвой, постом, богослужением, работой и мелким рукоделием, было незаметно и, прибавим, для многих... для очень многих даже и неважно. Личные религиозные вопросы об отношениях нашего ума и сердца к Богу, Церкви и жизни занимают большинство афонцев, как и следует, гораздо больше, чем спор греков с югославянами за политическое преобладание в Турции или вопросы внешней церковной дисциплины, вроде отношения экзархата болгарского к Патриархии Константинопольской.

Я был в это время на Афоне и глядел на это множество людей разных наций, простых и ученых, бедных и когда-то богатых в миру, которые столько молятся и трудятся, так мало спят, так много поют по ночам в церкви и постятся, — я думал часто, как оскорбительно должно быть многим из них это внедрение сухих политических страстей в их отшельни-

ческую жизнь!

К счастью, большинство этих людей, русские, греки и болгары, живут, по-прежнему, своей *особой афонской*, не русской, не греческой и не болгарской жизнью, и до них едва доходят отголоски этой борьбы, исполненной стольких клевет и несправедливостей.

Не ангелами во плоти я хочу представить монахов. О нет! И у них есть свои интересы, свои ошибки, свои падения и страсти. Распри в обителях, расстройства в среде братии, восстания происходили в монастырях в самые цветущие времена христианства — во времена отцов Православной Церкви; жития святых наполнены подобными событиями; даже такой монашеский наставник, как знаменитый Иоанн Лествичник, предполагает в монахе возможность развития всех страстей и пороков при нерадении или при самоуверенности.

Идеал монахов, может быть, и состоит в том, чтобы приблизиться к бесплотности и бесстрастию ангела; многие из них могут и достигать почти полного бесстрастия долгой борьбой, но большинство монашества всегда

было и не может не быть лишь *колеблющимся и нетвердым резервом высшего подвижничества*. Без нерешительной толпы невозможны *герои аскетизма*, и если на Афоне, например, из 8000 иноков найдется тысячи 2–3 *очень хороших*, добрых и искренних, хотя и слабых иногда, и 500 людей высшего разряда, достигающих образцовой жизни в различных положениях, игумена, духовника, пустынножителя или хотя бы обыкновенного рабочего монаха в многолюдной обители, то Афон может быть признан достаточно исполняющим свое назначение. Он таков и есть. И если при этом случаются ссоры и несправедливости, то без них нет жизни духовной, нет испытаний, нет борьбы с дурными страстями. Я хотел всем этим сказать вот что: на Афоне всегда, как и везде, могли быть раздоры, могли совершаться несправедливости и проступки, но все эти несогласия и раздоры имели до сих пор в виду не эллинизм, не болгарство, не руссизм, а те из временных интересов, которые прямо и непосредственно относятся к монашескому быту. Вопросы об избрании игумена более строгого или более мягкого, вопрос о насущ-

ном хлебе для братии, о воздвижении нового храма, о распоряжении кассой монастырской, о хранении древнего чина и устава... Вот предметы, которые могли и могут быть причинами распрей или борьбы между монахами, живущими не в пещерах или отдельных кельях, а в многолюдных общинах.

Самые дурные страсти, которые могут временно волновать монастыри и монахов, менее вредят *общему духу* и *общему строю* монашества, чем высокие принципы, если их вносят некстати в монашескую жизнь.

Что́ может быть лучше и благороднее патриотизма, и можно ли запретить человеку сочувствовать каким-либо успехам народа, из которого он вышел, любить свое отечество оттого только, что он надел монашескую рясу и дал искренний обет отречения? Невозможно! В этом чувстве нет ничего дурного, пока оно не становится в противоречие с долгом монашеским...

Изгнанные из Бессарабии проэстосы в шелковых рясах возвратились на Святую Гору, одушевленные нерасположением к России. Особенно отличается этими чувствами

некто о. Анания, ватопедский инок, лукавый, настойчивый, сам лично очень богатый; патриот эллинский, пожертвовавший недавно на Афинский университет такую большую сумму денег, что ему, как рассказывали тогда, правительство эллинское дало, чтобы почтить его, особый, нарочный пароход для возвращения на Афон.

Люди, подобные Анании, нашли средство, как подействовать издали и лукаво на иноков совершенно иных убеждений и жизни...

Вся злоба, вся интрига, вся эксплуатация разнообразных страстей и искушений, от которых наилучшие монахи (по свидетельству самих отцов Церкви) не застрахованы никогда вполне, направилась против русских монахов св. Пантелеймона, которые славились и на Св. Горе, и далеко за ее пределами своею высокою жизнью и великолепным, примерным во всех отношениях строем своей обители.

— Они раскольники, они заодно с болгарами, они хуже болгар, потому что болгары глупы и грубы, а русские знают, что делают... От них даже святую воду брать грех и служить с

ними в одной церкви не следует... Надо гнать их с Афона... Не бойтесь обнищания обители; мы вам поможем!

Так шепчет шелковый проэстос, изгнанный из Бессарабии, на ухо полудикому иноку из матросов, из горных арнаутов, из простых земледельцев... И простой инок впадает в искушение совсем других страстей, чем страсти бессарабского патриота...

Личная корысть и племенной фанатизм бряцают искусно на струнах простодушной религиозной нетерпимости...

Но с Божьей помощью и эта буря утихнет.

Русские монахи на Афоне, как ни тягостно им теперь, не забывают уставов; начальники их, отцы Иероним и Макарий, люди искренние в вере, глубоко убежденные; они (я, пишущий эти строки, имею счастье знать их лично) действуют, защищая свою паству не столько как русские, сколько как афонские монахи, подчиненные Патриарху. Они ждут от него помощи; они прибегают к его справедливости и его суду, ожидая от русской дипломатии лишь нравственной поддержки. Они смиренно просят лишь одного у Патриарха —

чтобы их развели с греческою братией Руссика, с этою греческою братией, которая сама, может быть, и не понимая хорошенько всего, стала орудием этно-филетической внешней интриги.

И Патриарху, не только такому замечательному, дальновидному, добросовестному Патриарху, каков нынешний Иоаким, но и даже такому, каков был Анфим, — невозможно гнать русских с Афона за то только, что они русские. Патриархия, торжественно проклиная этно-филетизм, не может действовать официально на племенных основаниях. Туркам тоже нет ни выгоды, ни охоты предавать весь Афон в руки одних греков»[72].

Леонтьев пишет, что «русское общественное мнение» не сможет защитить русских афонцев:

«Нападать на греков в газетах издали, не зная подробностей дела, ни его тайных пружин, кроющихся иногда в характерах лиц той и другой стороны (каждая добродетель — сестра какому-нибудь недостатку), значило бы только вредить русской братии, значило бы явно доказывать грекам, что русское об-

щественное мнение радо всякому случаю быть против них!..

Чем бесстрастнее мы будем относиться к этой распре, тем и Патриарху, если он желает добра, легче будет устроить дело. Надо помнить, что, чем Патриарх лучше, тем больше надо беречь его на троне, а чтобы остаться при нынешних обстоятельствах долго на этом троне, он не может грубо и неразумно раздражать крайних греков, ибо они могут низвергнуть его.

Посол наш может сделать больше печати. Однако и он в этом деле действует на пользу наших монахов только через Патриарха.

Патриарх единственный прямой и узаконенный судья этого дела»[73].

Леонтьев рассказывает историю, в которой есть решительно всё, что в больших размерах видно «и в афонских делах, и в греко-русских отношениях вообще... после того, как греки вообразили, что русские и болгары непременно одно и то же и действуют по уговору»[74]. История эта случилась в окрестностях Афона, верстах в 50 от его границы, в селении Ровяник:

«Вблизи от села начинается прекрасный лес широких и могучих каштанов, покрывающий на далекое пространство соседние горы. В получасе ходьбы от села, в этом прекрасном каштановом лесу, находится церковь Божией Матери, обыкновенно называемой *Панагия* (Всесвятая) в *Ровяниках*. Церковь эта имеет икону, прославившуюся в стране чудесными исцелениями. Не только христиане из далеких сел, но и турки нередко приходят молиться или привозят своих больных родственников. Для отдыха этих больных построено около церкви небольшое и плохое здание о нескольких комнатах, из них же только две крошечные кельи обитаемы зимой. В этих двух маленьких кельях живут две русские монахини, обе женщины уже в летах. Одна из них приехала сюда и поселилась около Панагии уже около десяти лет тому; другая не так давно. Они обе имеют хотя и очень скромные, но все-таки свои средства и условились с сельскими греками, которым принадлежат эта земля и эта церковь, чтоб им позволено было занимать те две комнатки.

Сверх того, при самой церкви есть неболь-

шая пристройка, где особо живет старая гречанка, тоже монахиня.

Эта гречанка — женщина необыкновенного простодушия и самой искренней доброты.

Ее набожность и благочестие были единственной причиной возвышения этого храма. Ей приснилось, когда она еще была бедной мирянкой, что в одном высохшем колодце неподалеку скрыта древняя икона Божией Матери, которую надо отыскать и поставить в храме. Над ней долго смеялись тогда селяне; наконец она убедила их начать поиски; икону открыли и построили церковь; вскоре икона эта стала привлекать много богомольцев и больных...

Русские монахини, матери Евпраксия и Маргарита, постриглись недавно; обе они прежде жили простыми богомолками, и греки их не беспокоили. Около двух лет тому назад пришла с Дуная третья русская женщина, монахиня, давно уже постриженная, мать Магдалина из Малороссии. Она была без всяких средств, очень больна, хотя и не стара, и решилась поселиться тут потому, что отец ее, старик и тоже монах, недавно переселился на

Афон, где и живет кое-как трудами рук своих в какой-то хижине.

Первые две русские женщины неграмотны и не знают ни пения, ни устава церковного.

С появлением бедной и больной Магдалины, которой иногда, без прибавления, есть было нечего, завелся кое-какой порядок в молитвах; она знала устав монашеский, пела по-русски и читала по-славянски в церкви и прожила, больная и молясь всю зиму, в одной полуразрушенной комнате строения.

Отец ее, сам крайне нуждаясь, мог существовать иногда только благодаря помощи русских духовников Пантелеимоновского монастыря. К тому же расстояние от Афона до Ровяников около шестидесяти верст тяжелого горного пути, и леса зимой нередко целый месяц и два бывают завалены на высотах снегом.

Мать Магдалина рассказывала мне, как она иногда голодала и болела в то же время лихорадкой...

Наконец отец прислал ей немного денег, из консульства солуньского ей помогли, и она задумала построить себе около самой церкви

маленькую, темную, особую хижину. Приходил на Афон какой-то русский поклонник, служивший при русских постройках в Иерусалиме. Он вызвался даром, „во славу Божию“, построить ей хижинку, нужно было только согласие сельских старшин; сельские старшины почему-то долго не решались и вообще, как она и прежде замечала, смотрели на нее хуже, чем на двух других, *безграмотных*, монахинь; но наконец позволили.

Купив доски, поклонник русский начал ей строить; вдруг прибегают из села пять-шесть греческих старшин и с ними какой-то неизвестный человек в европейском платье. Они под предводительством этого *европейца* кидаются на бедную постройку, ломают ее, ломают вдребезги доски; гонятся за Магдалиной в церковь, ее выгоняют и вместе с ней старушку гречанку, которая хочет отстоять Магдалину; схватывают некоторые русские (однако недорогие) иконы и все славянские церковные книги и выкидывают их вон из церкви. Старушку гречанку даже, которой сама церковь обязана своим существованием, изгоняют из ее убогого уголка, за *потворство пан-*

славизму, как оказалось, и запирают двери церковные. Все это происходило прошлым летом после греко-болгарского разрыва.

Что же это было такое?

Пока жили тут только безграмотные русские женщины, *эллинизм* дремал. С появлением грамотной Магдалины, которая и понятия, разумеется, о политических интересах не имела и распевала в церкви, и читала часы и вечерню для спасения души, эллинизм слегка потревожился. Во всяком селе у греков есть какой-нибудь более или менее плачевный *да́скал*, учитель, который всегда сумеет указать старшинам на опасность.

Но греки турецкие подданные все не то, что свободные *европейцы*! Явился таковой в лице греческого подданного, некоего купца Панайотаки, который занимался в этой стороне лесной торговлей. Он возбудил старшин ровяникских разрушить хижину и выбросить славянские книги и русские образа»[75].

По словам Леонтьева, эта история наглядно изображает «нынешние дела на Востоке и особенно на Афоне»[76].

В Пантелеймоновом монастыре на Афоне

около двух лет длилась борьба русских и греческих монахов, которая возникла под действием сильного движения против «панславизма», возбуждаемая непосредственно отдельными вожаками, и которая фактически представляла собой борьбу русских монахов с этно-филетическим «передовым отрядом» греческой нации и с теми, кто поддался этому влиянию.

В это трудное время испытания отец Иероним преследовал, как и прежде, только одну цель: благоугождение Богу, обоюдное спасение и русских, и греков, чтобы не было нарекания на имя монашеское. Старец так же, как и его чадо духовное Константин Леонтьев, смотрит на постигшее обитель искушение, как на временный крест. Смотрит по-монашески, а не по-славянски.

Когда возник вопрос о разделении греков и русских при невозможности дальнейшего сожития, отец Иероним не спешил с принятием решения, хотя его и понуждали к тому, но стремился узнать волю Божию. Он согласен был и дальше жить вместе с греками, если так угодно Богу; согласен был и отделиться от

них, оставив им уже благоустроенный монастырь у моря, а себе выстроить Старый нагорный Русик или наоборот. «Нам, желающим исполнить в этом деле волю Божию, должно быть равно и то и другое, — говорил он, — лишь бы то было по воле Божией, благоугодной и совершенной»[77]. А ближайший ученик старца схиархимандрит Макарий добавляет: «Сожительство вместе есть дело богоприятное и для Православной Церкви похвально. Это самое заставило как батюшку отца Иеронима сожительствовать с греками, так и нас последовать ему, в том смысле, что мы чада единой Христовой Церкви. И, конечно, если бы имели задатки наши собратия к этому и имели бы славу Церкви святой, а не своих идей, то, хотя при встречающихся необходимо в роде человеческом скорбных обстоятельствах, можно бы переносить, и для славы Божией благоугодно было бы совокупное житие. Если же люди стали видеть какую-то национальность и все права иметь на своей стороне, то, конечно, такое житие невместимо»[78].

Отец Иероним стоял за идею православ-

ную, а не за русско-славянскую нацию, и Господь Сам разрешил столь сложный и доселе неразрешимый вопрос. Патриарх принимает справедливое решение, дающее честь ему и его сану; действия посольства русского завершаются действительным успехом, греки святогорские приходят к покаянию и смирению, от которого для них ничего другого нет, кроме добра. Обитель Пантелеймонова успокаивается, русские афонцы пользуются справедливым и заслуженным торжеством.

После более чем столетнего перерыва веками принадлежавший русским монастырь святого Пантелеймона снова возвратился к своим исконным владельцам, а отец Макарий стал выдающимся игуменом, которого и греки полюбили за его доброту, кротость, любовь и справедливость. Не желавшие же жить под его начальством греки вышли добровольно из обители, получив от нее материальную помощь.

«Не явись наружу зло, не явилось бы добро, — говорил отец Иероним, — любящим Бога все споспешествует во благое».

Достойно внимания убеждение иеросхиди-

акона Илариона, грека, ближайшего помощника игумена Герасима, который с самого начала и до конца борьбы поддерживал русских, стоял за православное единство, хотя и много претерпел от своих единоплеменников.

Леонтьев показывает, что идея «панславизма» неосновательна, а для самой России вредна и неприемлема:

«Греки, умные греки, где ваш ум?

Вы незнакомы с предметом, о котором тревожитесь; ваше невежество во всех вопросах, касавшихся славянской истории и устройства Российской Империи, лишило этот и быстрый, и резкий ум ваш всяких дельных основ суждения.

И какие доказательства у вас в руках, что Россия во всем сочувствует болгарам? Писали у нас и за них, и против них, и за вас, и против вас. Их поступка 6 января никто особенно не хвалил. Многие находили только, что Патриарху во внимание к умиротворению Церкви следовало бы пастырски простить, а не объявлять *схизму*.

Кто говорит *простить*, тот признает *вину*...

Грустно вам, что Фракия и Македония ускользают от вас... Я это понимаю. Но чем же виноваты русские в том, что во Фракии и Македонии живут люди, которые греками быть не хотят?

Русские не виноваты в том, что во Фракии и Македонии больше болгар, чем греков. Зачем же вы не думали об этом раньше? Зачем вы не погречили болгар школами? Зачем не окрестили их эллинским духом сто лет назад, когда *идея политической народности еще не была в ходу*?

Не было силы тогда?

Это правда.

Но чем же тут виноваты русские, которые вместе с вами не раз лили кровь на поле чести, которых вы когда-то, братья-греки, просвещали и учили и вере, и быту, которые вам со своей стороны столько раз помогали и вместе с вами делили столько торжеств и столько поражений?

История прошедшего связала нас с вами, если хотите, даже ближе и теплее, чем с болгарами, у которых и не было никакой порядочной истории... И знайте, что в близком бу-

дущем вы помиритесь опять с нами; опять будете нам братья-греки и друзья... У болгар есть братья и помимо нас, и *выбор их свободнее* вашего... А вы, греки, вы *сироты* в этнографии, и, кроме Русской державы, старой между славянами, пресыщенной размерами и властью, снисходительной и осторожной, у вас нет друзей...

Вы верите в Германию?

Стыдитесь вашего политического ребячества!

Нынешние правители Германии поняли, кажется, что Drang nach Westen[79] вернее, чем напор на созревающий Восток...

И если бы Россия серьезно захотела вам вредить, то, поверьте, эти правители Германии предадут вас русским с радостью из-за малейшей уступки им по западным делам.

А если правительство в Германии изменится, если дух бездарных либералов возьмет верх над стойким духом императора Вильгельма и Германия станет тогда враждебна России, то Германии не поздоровится тогда между оскорбленной Россией и Францией, остервенившейся от ужаса и мести!

Не обманывайте себя надеждами ни на силу Германии, ни на ее сочувствие к вам.

Вот что я хотел бы ответить грекам, которые не умеют отличать русских интересов от болгарских стремлений...

Россия думала найти естественных союзников в молодых христианских нациях Востока. Она поставила себе правилом: *поддерживать и защищать гражданские права христиан и вместе с тем умерять по возможности пыл их политических стремлений.*

Такова была разумная и умеренная деятельность *официальной* России на Востоке. *Неофициальная* Россия — Россия газет, книг и частных сборищ — была, правда, менее широка и умеренна; в ней действительно замечался *узкий славизм*...

Россия, говорю я, искала сколько могла *исполнить желания христиан*. Болгары вначале *просили* только школ и литургии славянской, Россия помогла им и *просила* греков быть помягче и посправедливее. Греки местами *просили* тоже помощи на школы (например, для женских школ в Превезе, в Халки, в Буюк-Дере) — эту помощь им давали. Греки *просили*

риз и утвари церковной — им посылали ризы и утварь. Греческие монахи маленьких и бедных монастырей в Эпире и других местах Турции посылали старые хрисовулы Московских Царей в Россию — и им высылали по хрисовулам денег сколько могли. *Беднейшие греческие* обители на Афоне жили и живут русскими добровольными подаяниями и наперерыв испрашивают себе право на сборы в России; *богатейшие греческие* монастыри на том же Афоне (Вато-пед и Ивер) живут: один доходами с богатых бессарабских имений, другой доходами с монастыря св. Николая в Москве.

Греки желали присоединить себе Крит; Россия *просила* Турцию отдать им Крит. Болгары *просили* сначала полунезависимую иерархию у греков, Россия *просила* греков и турок хоть сколько-нибудь удовлетворить их.

У России особая политическая судьба: счастливая ли она или несчастная, не знаю. Интересы ее носят *какой-то нравственный характер* поддержки слабейшего, угнетенного. И все эти слабейшие, и все эти угнетенные, до поры до времени по крайней мере, стоят за нее...

Такова особая, любопытная политическая судьба этой *деспотической* России.

Интересы этой державы везде более или менее совпадают с *желанием* слабейших. По крайней мере, на время, то там то сям, по очереди. Это вовсе и не искусство, это исторический fatum[80]. Это выходит иногда против воли»[81].

Леонтьев указывает на «важный вопрос, могущий поселить несогласие между славянами, с одной стороны, и Русскою Империей — с другой»[82] в случае объединения их в одно государство. Это «вопрос о государственной форме России»[83]:

«Соприкасаясь беспрестанно в тысяче мелких ежедневных интересах с Россией, славяне не остались бы равнодушны к той *государственной форме*, в которую вылилась политическая жизнь русского племени. Задача в том: будет ли *им нравиться* эта форма?..

При образовании союза государств непременно выработается у юго-западных славян такая мысль, что крайнее государственное все-славянство может быть куплено только ослаблением русского единого государства,

причем племена, более нас молодые, должны занять первенствующее место не только благодаря своей молодой нетерпимости, своей подавленной жажде жить и властвовать, но и необычайно могучему положению своему между Адриатикой, устьями Дуная и Босфором.

Образование одного сплошного и всеславянского государства было бы началом падения Царства Русского. Слияние славян в одно государство было бы кануном разложения России. „Русское море“ иссякло бы от слияния в нем „славянских ручьев“.

Греки об этом никогда не думают...

Греки не думают также о том, что Россия чисто славянской державой никогда не была, что ее западные и восточные владения, расширяя и обогащая ее культурный дух и ее государственную жизнь, стеснили ее славизм разными путями, которые людям, знакомым с русской историей, известны недурно теперь и которые станут еще понятнее и известнее по мере большей разработки русской истории...

Поэтому-то, отвечаю я грекам, старайтесь

препятствовать панславизму, сколько хотите, если вы боитесь; но помогут вам в этом деле не нападки на Россию, которые ожесточают против вас общественное мнение наше, как и везде не слишком дальновидное в международных делах.

Повторяю вам, Россия не была и не будет чисто славянской державой. Чисто славянское содержание слишком бедно для ее всемирного духа»[84].

Выше Леонтьев вспоминал «историю прошедшего», когда русские вместе с греками «не раз лили кровь на поле чести». Из истории хорошо известно, что Россия в XVIII веке — начале XIX века почти непрерывно вела войны с Турцией, в том числе за освобождение Греции. Именно в этот период, когда невозможно было из России пройти в Турцию, а афонским монахам — получить помощь от русских людей, Пантелеймонов монастырь по оскудении в нем русского братства перешел в руки греков.

«Критское восстание, все греки это знают, — пишет Леонтьев, — было возбуждено не Россией, а Францией и афинскими патри-

отами. Россия его опасалась и не желала; но когда оно разыгралось, что оставалось делать России, этому старшему брату Православия на Востоке? Этому старшему брату оставалось сказать себе: я воздерживал пылкого младшего брата, сколько мог; он меня не послушал; это грустно; но теперь я не могу вовсе покинуть его в беде. Русское правительство тогда начало сколько возможно умерять советами гнев турок; русское посольство своим ходатайством у Порты спасло жизнь пленным эллинам, взятым с оружием в руках; русское консульство в Крите, открыто пользуясь *правом убежища*, не выдавало критян, скрывшихся за стены консульского дома; престарелый русский консул в Крите, г. Дендрино, страдавший в то время ужасною болезнью, имел мужество, не сходя с постели, принимать участие во всех бурных и страшных делах, кипевших тогда на прекрасном и героическом острове. Русские суда перевозили в свободную Элладу критских женщин, детей и раненых или уставших повстанцев.

Русские *независимые* газеты возбуждали южных славян против турок на помощь гре-

кам»[85].

В 1821 году греки подняли восстание против турок, первыми вступили в борьбу пелопонессцы и жители островов. В начале восстания султан Махмуд II повесил Вселенского Патриарха Григория. На Афон, который поддержал восставших, были введены войска, турки грозили разрушить монастыри. И только благодаря предупреждению не трогать святых обителей, сделанному императором Александром I султану, угроза не была приведена в исполнение. Но Святая Гора, населенная множеством монахов, быстро запустела, афонцы в большинстве своем разбежались, кто куда мог.

В 1827 году султан, не согласившись с требованием России, Англии и Франции «остановить кровопролитие» и дать грекам независимость, сосредоточил близ берегов Пелопонесса большой флот для уничтожения повстанцев. Русский император Николай I обратился к Англии и Франции с предложением послать к берегам Турции соединенный флот, чтобы «устрашить» турок и вынудить их отказаться от военных действий против грече-

ских патриотов. Тогда, еще до объявления войны, произошла знаменитая Наваринская битва, в которой погиб весь турецкий флот.

А в 1828 году Россия, единственная из «тройственного союза», объявила войну Турции и русские войска подошли почти к вратам Константинополя, потеряв больше 100 тыс. своих воинов.

По заключении мира между Россией и Турцией была признана независимость Греции, создано эллинское государство на юге Балкан. А Афонская Гора опять наполнилась монахами всех национальностей.

Соблюдая традицию русских царей еще от Иоанна III после его брака с Софией Палеолог, император Николай I в 1829 году сказал турецкому посольству: «Передайте вашему повелителю, что он всегда может рассчитывать на дружбу и помощь, если ему угодно будет помнить, что часть его подданных — православные, а я — покровитель всех православных». О соблюдении этой традиции Леонтьев писал: «Ноты нашего министерства были всегда составлены в таком духе, что Россия не может оставаться равнодушной к жалобам

христиан. Пусть Турция сумеет успокоить и удовлетворить своих христианских подданных, и Россия будет ей самый верный друг» [86].

Так же, как и отец Иероним, Леонтьев считал, что возникший конфликт между греками и славянами можно урегулировать только путем взаимных уступок. Но, касаясь верности Православию, он делает оговорку, что есть вещи, которых уступать нельзя. Ради православной идеи, общей как грекам, так и славянам, должно жертвовать плотскими национальными интересами: «Я верил заодно со св. царем Константином, что и с политической точки зрения чистота и строгость православного учения важнее нескольких провинций...

Какая важность, что вследствие смешанности населения в Македонии и Фракии часть греков остается под болгарами и часть болгар в Македонии и во фракийском побережье под греками?..»[87]

Отмечая «великое призвание России»[88] как оплота Православия, Леонтьев подчеркивает то значение, «*которое имеют греки для православной России, как представители и но-*

сители церковной идеи на Востоке, как исторические (т. е. не принципиальные, а временные) *местоблюстители четырех великих Патриарших престолов, как самые верные*, опытные, способные и твердые охранители самых древних и, так сказать, „из первых рук“ полученных преданий и уставов Вселенского Православия. Говоря иначе и яснее: не греки должны быть важны для нас сами по себе, как греки, а важны Восточные Церкви, *по исторической случайности оставшиеся в руках греков*»[89]. Поэтому, пишет Леонтьев, они и «должны быть нам дороже всех других союзников, и с этой стороны хорошо делать им всевозможные уступки. Что же касается до эллинизма, или до греков как представителей *своего племенного начала*, то это — смотря по обстоятельствам: можно быть и за них, и против них», если они предпочтут либеральную демагогию и «дух века»[90]. «Для пользы Церкви и для будущего России нам в церковных делах на Востоке надо быть прежде всего в тесном союзе с греками и что греко-русский союз на *почве (преимущественно, если не исключительно) церковной* есть са-

мая несокрушимая в мире сила, ибо последствия такого церковного единения неисчислимы и ветви от этих вековых корней часто незаметной, но необъятной и несокрушимой сетью покрывают всю историческую жизнь христианского Востока от Новой Земли и Камчатки до берегов Нила, Вислы и Дуная...» [91]

«Враги ли мы с греками?» — спрашивает Леонтьев и сам же отвечает: нет, конечно. Враждебны «распаляющие племенную вражду» либеральные влияния, а не те греки — духовенство, монашество, миряне, — которые верны общецерковным преданиям[92]. «Откуду брани и свары в вас? — спрашивает апостол Иаков, — не отсюду ли, от сластей ваших, воюющих во удех ваших» (Иак. 4:1). «Еще бо плотстии есте, — дополняет апостол Павел. — Идеже бо в вас зависти и рвения и распри, не плотстии ли есте...» (1 Кор. 3:3).

Увлечение плотскими национальными интересами и оставление идеи православной — истинного духа наций как греческой, так и русской — испортило наши отношения, бывшие столько веков братскими.

«Я думаю, — говорит Леонтьев, — если бы греки не подозревали везде за болгарами русских, они были бы покойнее. Не надо думать, что в этом чувстве есть какая-нибудь *физиологическая* ненависть к русским. За что же? Нет, это просто естественный расчет и рассуждение боязни...

— Вы, славяне, наши естественные враги! Мы должны поддерживать турок, — говорил мне раз с одушевлением молодой и очень образованный греческий епископ.

— Пока существует Турция, — продолжал он, — мы еще обеспечены. Панславизм дружбой, единоверием, соседством своим опасен нам более, чем военной силой, которую, мы уверены, против нас не употребят. Но смешанные браки, необходимость знать тогда славянский язык и тысяча подобных условий могут стереть племя эллинов с лица земли. Вот почему Турция нам нужна и критские дела были одной из величайших ошибок афинской политики...

— Я верю, что теперешнее правительство русское искренно в своих словах, — сказал епископ. — Оно это не раз доказало; в 29-м го-

ду, во время войны Турции с Египтом, в 66-м и теперь, недавно, оно могло бы поступить вовсе иначе. Но люди проходят, правители и интересы изменяются... Тогда что? Болгары — народ грубый, без вас они ничего не сумели бы сделать...»[93]

Так были настроены «передовые» люди Греции. Они хоть и были нашими единоверцами, ценили нашу дружбу и помощь, но не имели уже того должного упования на Промысл Божий, как, например, отец Иероним, и надеялись больше своими усилиями спасти свою нацию.

Леонтьев писал, что если в простонародье у греков верность России, память о ее благодеянии еще сохранялись, то среди эллинской интеллигенции, послушной Европе, предавалась забвению уже и сама история.

Другую закономерность отмечал он, что сельский и вообще рабочий класс рано или поздно уступает идеям и вкусам классов более образованных и богатых. За интеллигенцией всегда идут и простолюдины, за мужчинами — женщины. Воспитанная по-европейски эллинская молодежь и вовсе уже считала

русских своими врагами.

На опасения греков растворяться среди многочисленного славянства, на этот страх, скорее всего ложный и внушаемый диаволом, дабы возбудить вражду между православными народами, Леонтьев отвечает:

«Повторяю здесь вкратце те заключения, к которым привели меня (ошибочно или нет — не знаю) мое беспристрастие, мое знакомство с современным Востоком и его политическими делами. Болгар против греков я не защищаю. Это и не нужно. Схизма принесла болгарам более пользы, чем грекам.

Болгары, сравнительно *с прежним положением* своим, будут крепнуть; греки, несмотря на все свои усилия сравнительно *с прежними претензиями* своими, будут ослабевать.

Положение болгар в Турции выгодно, и они просят только об одном, чтобы им не *мешали жить хорошо с турками*.

Но греки, говорю я, напрасно *нападают на Россию*. Это им вовсе не выгодно, и они скоро образумятся. Это несомненно.

Я становился по очереди на точку зрения

греческих опасений и на точку зрения русских интересов.

И те и другие совпали, во-первых, в том, что *узкий славизм* был бы *одинаково* опасен и для эллинского племени, и для *великорусского* Царизма...

Я старался показать, сверх того, что историческая судьба России склоняла ее всегда к защите слабейшего, или младшего, или устаревшего, одним словом, того, кто был недоволен своими *ближними* и сильнейшими. Греки, конечно, были бы *слабейшими* не только против всего югославянства, но и против двоих соседей своих, сербов и болгар.

Они, еще не чувствуя этого, уже и теперь во многом, как я указывал, слабее даже *одних болгар*.

Подобно тому как Россия никогда не имела и не хотела потворствовать грекам в эллинизации болгар, она не допустит никогда, *пока у нее будет сила*, стереть национальность греков.

Только в немыслимом случае *распадения Царства нашего*... и допуская возможность скорого удаления турок за Босфор... у греков

не осталось бы надежды на спасение от потока одностороннего славизма»[94].

Леонтьев сожалеет о распре наших единоверцев греков и болгар в то время, когда нужно было решать вопросы более важные и драгоценные — укрепления Православия на Востоке.

В то время Восток по своей самобытности резко отделялся от Запада: «С одной стороны, *весь Запад, малоземельный, промышленный, крайне торговый и пожираемый глубоко рабочим вопросом*. С другой — весь *Восток, многоземельный, малопромышленный и не имеющий рабочего вопроса, по крайней мере в том* разрушительном смысле, как он является на всем Западе, латинском и германском»[95].

Вопрос состоял в том: уступит ли Восток, отдаст ли свои верования и надежды, свою самобытность на пожрание все тому же прогрессу?

«Пока у Запада есть *династии*, пока у него есть хоть какой-нибудь порядок, пока остатки прежней великой и благородной христианской и классической Европы не уступили места грубой и неверующей рабочей респуб-

лике, которая одна в силах *хоть на короткий срок* объединить весь Запад, до тех пор Европа и не слишком страшна нам, и достойна и дружбы, и уважения нашего...

А если?..

Если Запад не найдет силы отстоять *у себя* то, что дорого в нем было для всего человечества; разве и тогда Восток обязан идти за ним?

О нет!

Если племена и государства Востока имеют смысл и залоги жизни самобытной, за которую они каждый в свое время проливали столько своей крови, то Восток встанет весь *заодно*, встанет весь оплотом против безбожия, анархии и всеобщего огрубления.

И где бы ни был тогда центр славянской тяжести, как бы ни были раздражены греки за то, что судьба осудила племя их на малочисленность, *где бы ни была, наконец, тогда столица ислама*, на Босфоре, в Багдаде или Каире, все тогда, и греки, и болгары, и русские (а за ними и турки), будут заодно против безбожия и анархии, как была заодно когда-то вся Европа против насилующего мусульман-

ства.

Соединенные тогда в одной высокой цели народы Востока вступят дружно в спасительную и долгую, быть может, духовную, быть может, и кровавую борьбу с огрубением и анархией, в борьбу для обновления человечества...

Славяне *одни* не в силах решить этого ужасного и великого вопроса. И если мы уйдем от него, то не уйдут от него эти бедные дети наши, которые растут теперь на наших глазах.

Вот это, друзья-эллины, действительно „великая идея“, вот это настоящий *Восточный вопрос*, за который, пожалуй, и стоит страдать и жертвовать жизнью и всем достоянием!

А ваш частный вопрос — босфоро-балканский, ваш этот малый вопрос, он кончится только тем, что племя ваше устанет в борьбе с упорными и ловкими болгарами, *постигнет лучше* свои законные пределы и поймет *очень скоро*, повторяю, что самый верный, самый твердый друг этого *законного эллинизма* пребудет все-таки столь оклеветанная и всепрощающая Россия»[96].

У Леонтьева есть такие замечательные слова о православной религии, вере православной: «Пока религия жива, все еще можно *изменить* и все спасти, ибо у нее на все есть ответы и на все утешения»[97].

Вот почему для разрешения Восточного вопроса, для воплощения этой великой идеи необходимо укреплять Вселенское Православие, которое есть «орудие охранительной, зиждущей и объединяющей дисциплины... издавна столь спасительное и для нас, и для всего славянства.

Об его укреплении, о новых средствах к его процветанию мы должны прежде всего заранее и немедленно позаботиться.

Не восстановление *храмов вещественных* важно: утверждение *духовной Церкви*, потрясенной последними событиями.

Надо прежде всего примирить болгар с греками.

Надо оставить на первое время часть болгар под Патриархом в южной Фракии и в южной Македонии, отдавши все остальное экзарху. И часть греков под болгарами, где придется. Надо достичь того, чтобы Патриарх

снял с болгар проклятие, если по уставу он имеет право сделать это без созвания нового собора, если болгары сознаются, что они поступали неканонически. И они должны сознаться и покаяться в этом...

Восточный вопрос будет кончен, даже и в том случае, если Порта сохранит еще на этот раз какую-нибудь тень владычества»[98].

Леонтьев приводит мнение доктора Овербека, «всеми уважаемого православного христианина, *не грека и не славянина* и потому особенно внушающего доверие к своему беспристрастию во всем этом деле»[99]. По словам последнего, Россия уже «много выиграла в глазах греков вследствие того, что она столь осторожно отнеслась к последнему болгарскому посольству, которое было, правда, принято Россией в высшей степени радушно — *в смысле посольства политического*, но коего духовные лица не имели случая участвовать в сослужении с российскими иерархами.

Восстановление добрых отношений между Патриархией и российским Синодом доктор Овербек считает не только в высшей степени желательным, но и, на основании совершен-

но достоверных данных, *весьма* возможным. „Восстановление дружбы между ними, — говорит Овербек, — было бы благодеянием для *обеих* Церквей и, без сомнения, возвысило бы влияние Православия на всем свете. Недоразумения произошли оттого, что к вопросам чисто церковным примешались соображения политические. Но, — продолжает он, — эти недоразумения легко устранимы: я явился в Константинополь как открытый друг России и Русской Церкви и не раз имел случай заявлять об этом в моих разговорах с Патриархом; тем не менее решительно все отнеслись ко мне с полнейшим дружелюбием.

Греки, — говорит доктор Овербек, — начинают понимать (может быть, не без некоторого прискорбия), что хотя *номинальное* предводительство в Православной Церкви принадлежит им, *фактическое* преобладание перешло уже к славянам (т. е. к русским, около которых группируются остальные славяне). Греки видят, таким образом, что центр тяжести в этом деле переходит на Север, к России, за которой оказывается преимущество... в более значительном числе ее детей... Правда, мно-

гие греческие иерархи, получившие образование за границей, возвращаются на родину с немалым запасом русофобии; но зато все те знакомые мне греки, которые окончили свое образование в России, вообще очень дружественно расположены к ней. Было бы крайне желательно, чтобы Россия привлекала к себе молодых греческих богословов и кандидатов богословия и давала бы им возможность оканчивать свое образование в *русских* духовных академиях вместо иностранных университетов, где они вместе с неоспоримым научным развитием получают иногда и некоторый гетеродоксальный колорит.

Сближение между обеими Церквами должно бы исходить от России, как от стороны более сильной. Желание такого сближения, заявленное со стороны Российской Церкви (по крайней мере, в лице более значительных ее представителей), *было бы, без сомнения, встречено греками с полнейшим сочувствием; русским было бы легко приобрести расположение и любовь своих меньших братий* (вероятно, имеется в виду меньших числом. — *Сост.*) — *как умеренностью и скромностью,*

так и снисходительностию к традиционным идеям греков о первенстве Византии“...

Война же (вызванная все теми же ободренными удачным отщеплением болгарами) доказала грекам всю *тщету их мечтаний о Византии* и даже, общее говоря, всю глубокую политическую несостоятельность их в удалении от России... С другой стороны, и русские должны же наконец понять после этой войны, что „*без греков нельзя решить успешно Восточного вопроса; ибо в них-то самая сущность его, а славян надо было еще прежде выдумать*“»[100].

Леонтьев спрашивает у себя:

«1) Должны ли мы заботиться об укреплении Православной Церкви, несмотря на то, что последние времена по всем признакам близки? Конечно, должны. Надо приготовить паству для последней борьбы. 2) Что важнее всего для этой цели? Важнее всего, чтобы учительствующая часть Церкви, т. е. иерархия православная, стояла в уровень века не только по учености, но и по воспитанию и по всему. Надо, чтобы, сверх того, у духовенства было больше самобытной власти. 3) Есть ли на-

дежда на это? *Есть*. Церковь может жить (т. е. меняться) в частностях, оставаясь неподвижной в основах; на жизнь ее (земную) имеет большое влияние положение духовенства и другие исторические условия. Православная Восточная Церковь *никогда еще не была централизована*; а запрета ей быть таковою нигде нет. Взятие Царьграда даст возможность сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее единоличной, чем на Западе, а более соборной. 4) Греческое духовенство... при всех недостатках своих более нашего способно будет, по историческим привычкам своим, к властной роли»[101].

Согласно с древним пророчеством Леонтьев уверен, что русские должны будут занять Царьград. По сложившимся политическим обстоятельствам считает это возможным в ближайшее время. Вместо панславизма, столь страшного для греков и одинаково невыгодного как грекам, так и русским, он видит необходимость создания греко-славянского союза на Босфоре, центр которого должен быть в Царьграде.

Мыслитель считает, что поскольку урав-

нительный процесс разрушил «вековой сословнокорпоративный строй жизни»[102] России и восстановление его становится невозможным, то для возрождения России необходим «крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а *главное, необходим новый центр, новая культурная столица* »:

«Скорая и несомненно (судя по общему положению политических дел) удачная война, долженствующая разрешить Восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу *тот выход* из нашего нравственного и экономического расстройства, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах…

Все, мне кажется, должны понять, что *именно на Босфоре* нужнее всего непосредственное действие сильной десницы и беспристрастного ума, стоящего выше местных и мелкопатриотических страстей. Русское влияние или русская власть в этом великом средоточии не должны иметь никакой исключительной окраски, *ни юго-славянской, ни грече-*

ской; русская власть или русское влияние должны приобрести в этих странах характер именно *вселенский*... И в этом смысле Цареградская Патриархия должна стать для этого русского всепримиряющего влияния самой мощной и прочной нравственной опорой. *Дело не в лицах, занимавших* за последнее время этот великий и многозначительный престол; *дело не в национальности этих лиц* и не в поведении их; дело в значении самого *престола*. Вопрос не в епископах; не в людях, живших под вечным „страхом агарянским“. *Люди меняются*; вопрос в древнем учреждении, под духовным воздействием которого сложилась и окрепла и наша, еще столь живучая доселе, *Московская Русь*.

Несчастным болгарам, в утеснении своем мечтавшим лишь о том, как заявить миру о существовании и человеческих правах своей подавленной народности, было простительно и естественно видеть в Цареградском Патриархе только *греческого владыку*. Для великой России необходим иной — орлиный полет; для русской мощи достойнее самовольно смиряться перед безоружной духовной силой

православного учреждения, вдохнувшего 1000 лет тому назад в нас христианскую душу, чем вступить в раздражительный и мелочной антагонизм с ничтожным по численности греческим племенем. Вопрос тут не в греках или славянах; это одна близорукость; это политика жалкая и бесплодная; дело, сказал я, прежде в умиротворении, в укреплении Вселенского Православия.

Царьград есть тот естественный центр, к которому должны тяготеть все христианские нации, рано или поздно (а может быть, и теперь уже) *предназначенные составить с Россией во главе великий Восточно-православный союз*.

Не столицей Греческого и Болгарского царства должен стать когда бы то ни было Царьград и тем более не главным городом государств более отдаленных, а столицей именно Восточного союза этого; и в этом (*только в этом*) смысле его, правда, можно будет назвать *вольным* или *нейтральным* городом.

Вольным только для членов союза.

Ибо какое мы имеем право и против отчизны нашей и против потомства, и против

тех христиан, за которых мы бьемся и приносим такие кровавые жертвы, допустить *иные влияния*, так называемые *европейские*, на равных с нами правах?..

Само собою разумеется, что Царьград не может стать административной столицей для Российской Империи, подобно Петербургу. Он не должен даже быть связан с Россией в той форме, которая зовется в руководствах международного права „union réelle“[103], т. е. он не должен быть частью или провинцией Российской Империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракии и Малой Азии (напр., до Адрианополя *включительно* и вплоть до наших теперешних границ около Карса) должен *лично* принадлежать Государю Императору; т. е. вся эта Царьградская или Византийская область должна под каким-нибудь приличным названием состоять в так называемом „union personelle“ [104] с Русской Короной. (Наподобие Финляндии или прежней Польши или наподобие Норвегии, в которой король шведский есть нечто вроде наследственного президента). *Там само собою* при подобном условии и нач-

нутся *те новые порядки*, которые могут служить высшим объединяющим культурно-государственным примером как для 1000-летней, *несомненно уже устаревшей* и с 61-го года *заболевшей эмансипацией* России, так и для *испорченных европейскими влияниями афинских греков и югославян*.

Поставленный, с одной стороны, с Россией только в *личное*, а не в *реальное* соединение; призванный, с другой — стать не административной только столицей одного государства, а культурным центром целого греко-славянского союза или нового восточного *мира*, Царьград не легко подвергнется опасности, что в него целиком и спроста перенесутся устаревшие привычки демократизованного за последнее время Петербурга, а напротив того, сам этот, столь вредный, цивилизованный, но *не культурный* (не культурный значит по-моему *несвоеобразный*) Петербург начнет быстро падать и терять значение, и в самой России административная столица почти невольно перенесется южнее, — вероятно, не в Москву, а в Киев.

Итак, будут тогда *две России*, неразрывно

сплоченные в лице Государя: *Россия — Империя* с новой административной столицей (в Киеве) и *Россия — глава Великого Восточного Союза* с новой культурной столицей на Босфоре.

Таков наилучший и даже единственно возможный исход наш из современного нашего положения; и для скорейшего достижения подобной цели позволительно русскому гражданину *желать*, чтобы Австрия или Англия каким-нибудь слишком дерзким поступком или сама Турция какими-нибудь новыми и нестерпимыми беспорядками вынудили нас воевать.

Если бы я призван был советовать, то я бы даже посоветовал *довести их поскорее* до этого. И лучше бы *все-таки* начать с Австрии; ибо тогда одно чувство самосохранения дало бы нам нравственное право направить из Карса войска к Босфору. Воюя с Австрией, мы имели бы полное право позаботиться, чтобы нашей армии никто не угрожал с юга.

Турция пала бы тогда сама собою...

Россия — не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиат-

скими владениями, — это целый мир особой жизни, особый государственный мир, *не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности*»[105].

Леонтьев считает, что у России есть еще возможности для создания «своей собственной, оригинальной славяно-азиатской цивилизации, от европейской (или романо-германской) настолько же отличной, насколько были отличны: эллино-римская от предшествовавших ей египетской, халдейской и персо-мидийской; византийская (распространявшая свое влияние до IX, X и XI веков и на западные страны) от предшествовавшей ей эллино-римской, или, наконец, настолько, насколько была отлична новая, *последняя* романо-германская цивилизация от предшествовавших ей и отчасти *поглощенных и претворенных ею органически* цивилизаций эллино-римской и византийской.

Подобная историческая цель достигается, конечно, веками, сознательными и бессознательными усилиями целого ряда поколений, их прямыми и косвенными совершенно даже иногда нецелесообразными действиями; но

история доказывает нам, что некоторые удачные предприятия и решительные поступки влиятельных и власть имущих лиц, увлекающих за собою толпы или приостанавливающих известное движение, определяют дальнейший тип или стиль культурного развития и могут считаться поворотными пунктами всеобщей и частной истории. Примеров на это множество, и я нахожу даже лишним их здесь приводить. Они должны быть известны из учебника.

Таким поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию...

Цареградская Русь освежит московскую, ибо московская Русь вышла из Царьграда; она более петербургской культурна, т. е. более своеобразна; она менее рациональна и менее утилитарна, т. е. менее революционна; *она переживет петербургскую*. И чем скорее станет Петербург чем-то вроде балтийского Севастополя или балтийской Одессы, тем, говорю я, лучше не только для нас, но, вероятно, и для так называемого „человечества“, ибо не ужас-

но ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах *для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде* благодушествовал бы „индивидуально“ и „коллективно“ на развалинах всего этого прошлого величия?..

Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!..

Итак, еще раз — роль России и славянства в истории определится лишь при единении — для единения нужен центр не столько административный, сколько общеполитический, религиозный и культурный. *Этим центром* может быть *только Царьград*!

Без Царьграда нет славянского единства,

нет того *идеального славизма*, к которому, по-видимому, столькими изворотами вела нас история; к которому она идет и пойдет, вопреки всем задержкам и препятствиям, с первого взгляда кажущимися непреоборимыми.

Мы можем *откладывать* это решение; *предотвратить* его не может никто! Не мы вызвали, например, последнюю войну; мы не желали ее. Ее вызвали и союзники наши, и враги; герцеговинские селяне, черногорцы, турки, Англия.

Никогда, быть может, исторический fatum не выразился так ясно, как во время последних событий на Востоке. Никто, кроме Англии, быть может, войны не желал. Россия не искала ее; Турция боялась; Австрия хотела бы ограничиться одной дипломатической игрой. И все эти не желавшие войны державы — Турция, Россия, Австрия, насильственно занимая сербские земли, вовлеклись в нее.

Не Россия, может быть, вызовет и вторую войну; но война эта будет, и торжество наше несомненно.

Политическое торжество России на Балканском полуострове, говорю я, несомнен-

но — это так; но что создаст на Босфоре это ничьим оружием неотвратимое торжество: культурный ли центр славянского обособления или очаг неслыханного всесветного радикализма — вот в чем вопрос!..

Много сокрушались у нас и о том, что войска наши не заняли Царьграда... Но какая была необходимость его *временно* занимать? Победа и так была ясна; и вступить в Царьград стоило только в том случае, если бы можно было бы из него *не выходить* никогда обратно. Лучше было не поднимать дела о проливах и Царьграде до тех пор, пока нам это невыгодно; лучше было сохранять там турок и даже защищать их, чем, удаляя их несвоевременно, предавать Царьград и проливы на произвол судьбы.

Сущность в том, что у нас нет середины между Царьградом турецким и Царьградом русским. Если нельзя сейчас сделать Царьград русским, то пусть будет Царьград султанским городом, лишь бы нам сохранить его для самих себя и *притом как можно менее во всех отношениях испорченным*. И в самом деле, чем может стать Царьград по удалении из

него турок?

Он может стать или каким-то „интернациональным“ городом если не по названию непременно, то *по духу*, по исторической роли своей или просто собственностью какой-нибудь великой державы.

Из народов соседних, живущих на Востоке, могли бы еще претендовать на обладание Босфором только болгары и греки. Но их непримиримого антагонизма уже одного достаточно, чтобы устранить сразу всякую мысль о способности как и тех, так и других владеть этим „перлом“. Детские мечтания греков о „Великой идее“, т. е. о восстановлении греческой Византии до Балкан и далее, и мелочной патриотизм болгар, которые, не умея возвыситься до славяно-вселенских интересов, готовы постоянно расстраивать и сокрушать нетерпеливыми раздорами Православную Церковь (единственное серьезно охранительное начало в славизме), в равной мере делают эти оба народа недостойными владычествовать на Босфоре... И грекам и болгарам одинаково необходима дружеская, но твердая рука; рука справедливая и к тем и

к другим, во имя общеправославных интересов. Им нужны — в одно и то же время — елей любви для их разверстых язв и бич отеческий для обуздания их претензий, их пустой и мелочной гордыни. Держать елей в одной руке и бич в другой может только одна Православная Россия!..

Чего же мы можем ожидать от освобождения и предоставления самим себе христиан Востока, неопытных, жаждущих жить политической жизнью, страстных в политике, в религии холодных и сухих, не имеющих ни дворянства родового, ни могущественного, независимого от народа духовенства, ни старинных и любимых династий, ни той внутренней независимости ума, которую дает народу сознание старой или новой, но *славянской* и, главное, *собственной цивилизации*.

Турки ушли; они забыты; надо жить и действовать... Явились новые требования, новые интересы, новые претензии, новые неудобства и страдания. Все помешались исключительно на деньгах, ибо, кроме денег, нет пути к преобладанию в народе... *Свободная* плутократия господствует безгранично на первую

пору и этим вызывает новую крайность — *свободное же обеднение других граждан...* А *идеи* всеобщего благосостояния и благоденствия распространяются своим чередом... Вырастает молодежь, не помнящая почти турок; молодежь, которой дела нет ни до Православия, ни до тех русских, которые легли костьми во стольких битвах, еще со времен Петра и Екатерины и до дней последней борьбы за свободу Востока...

И вот в средоточии этого мира крайнего индивидуализма и утилитарной сухости, среди этого хаоса непрочной плутократии и легкомысленной интеллигенции воздвигается на Босфоре, по соглашению солидарной Европы, великая и обновленная столица; свободная, нейтральная, всем и всему чуждая по господствующему в ней какому-то неуловимому духу, но до всего и до всех касающаяся; парализующая все односторонние, национальные и религиозные влияния и потворствующая всему от наций и религий уклоняющемуся или к интересу их равнодушному...

Итак, на почве этого-то уже и теперь крайне либерального и демократического христи-

анского Востока, в этой среде, где, как я сказал, самый крайний консерватизм *не белого*, а *бледно-серого* цвета, Россия должна создать в угоду державам Запада исполинский очаг разрушения, республику, по существу своему отрицающую все крайности: мусульманство, Православие, грецизм, славянство, папизм, русский Царизм, все крайности, кроме тех *космополитических крайностей,* которые должны выйти из отрицания всех других особенностей...

Царьград нейтрализованный станет очень скоро столицей всесветного нигилизма. Революция, которая не могла себе до сих пор найти живого центра во всех этих, старых и характерных национальных столицах, в Париже, Берлине, Риме, Вене, Лондоне, — обретет, наконец, юридически утвержденную и политически оправданную резиденцию в этом городе, чуждом всему национальному (т. е. культурнонациональному. — *Сост.*), всему священному для каждой нации у себя дома...

Вот что такое „нейтрализованный“ Царьград!»[106]

Леонтьев рассматривает в контексте Боже-

ственного Промысла тот факт, что русские войска в ходе войны 1877–1878 годов не заняли Константинополь: «Русское войско переходит Дунай... *Оно перед Царьградом...* Но мы не вступаем туда, мы *не присоединяем* его... Ошибка с виду; слабость, быть может, по сознанию, по человеческому расчету. *Но спасение* — по „смотрению“ Божию... *В тот год еще мы были недостойны туда взойти, — мы всё бы там погубили...* Мы были тогда слишком *либеральны*!»[107]

Вот такие возможности для России, для славянства, для всего греко-русского Православия открывались уму гениального православного мыслителя, окончившего свой земной путь в монашеском чине с именем Климент в 1891 году в 60-летнем возрасте.

По его словам, Константинополь не был взят в свое время русскими промыслительно, чтобы своей либеральностью не превратить его в ту же «Европу». «Нам надо самим стать погуще», т. е. поправославнее, чтобы образованные люди стали «внутренне бояться греха» — так говорит мыслитель[108]. Он считает, что Турцию лучше пока сохранять само-

бытной, какой она есть, «до тех пор, пока у нас не будут Великим постом есть говядину и рябчиков»[109], и выносит пророческий приговор: «А не станем [погуще] — так и пропадем лет через *сто*: или сольемся *воедино* с общеевропейской республикой, или будет китайское нашествие, весьма, конечно, *бесцеремонное*; китайцы — люди серьезные, они на „наших европейцев“ не похожи! К тому времени чему нужно для *всеразрушения* обучатся. От души желаю *последнего* подлецам и дуракам потомкам нашим, если они хороших надежд не оправдают»[110].

Этой-то самой «густоты», «залогов религиозности», или живой деятельной веры, страха Божия, страха греха он как раз и не видел в современном ему обществе. Напротив того, оно все больше и больше катилось по пути всеразрушительного, всепожирающего либерального прогресса в «светлое будущее». Мыслитель сокрушался: «Но отчизна наша предана уже проклятию и ничего с ней не сделаешь... Чтобы она помолодела... боюсь сказать... что́ нужно... быть может, целый период войн и кровопролитий»[111].

При жизни отец Климент (Леонтьев) был одинок, обществом не признан; его не знали, не понимали и понять не хотели. Он шел один против течения. «Моими сочинениями, — писал он, — интересуются, дай Бог, 50 человек на всю Россию»[112]. И все это несмотря на то, что он был единственным из всех русских писателей, который, получив направление своему творчеству от старца Иеронима Афонского, всю свою последующую жизнь, до самой смерти, находился в духовном подчинении у преподобного Амвросия Оптинского и пользовался его благословением на свои труды.

Идеи монаха Климента (Леонтьева) по Восточному вопросу остались без внимания, мы стали еще либеральнее. Уничтожить Самодержавие, обратить Россию в республику горели желанием уже и генералы царской армии. Предательства, измена царской присяге. Вместо занятия Царьграда, что было вполне реально, могучая русская армия в первой мировой войне терпит одно за другим поражения. Революция, цареубийство, крушение Российской Империи. Турки до сих пор на Босфо-

ре.

Русские и греки оказались теперь в разных лагерях: капитализм и социализм заявляли себя как злейшие и непримиримые враги. Мнимая угроза панславизма, висевшая над Грецией, миновала.

Господь хранит это маленькое государство не ради усердия патриотов-националистов, но, надо полагать, покровительством Божией Матери, любящей этот немногочисленный народ, молитвами бесчисленного множества святых угодников Божиих, которыми преизобилует эта страна, молитвами святых мужей, которые и до сих пор, слава Богу, есть среди греков.

Русскому же народу за отступления от Православия Господь попустил и вовсе впасть в безбожный атеизм, открытое богоборчество. Связь с братьями-греками прекратилась для него, за исключением маленькой горсточки вымирающих стариков-монахов на Святой Горе Афон, лишенных связи со своим отечеством, помощи оттуда и надежды на него.

Греция хотя и оставалась фактически государством православным, но в ней также про-

исходило оскудение, одряхление и уменьшение веры в народе, отход от традиций Православия, введение нового стиля в церковный календарь. И, как показатель, также катастрофическое уменьшение числа иноков в афонских обителях.

Итак, из уроков пройденного исторического пути ясно видно, что отступление как у греков, так и русских от православной идеи одинаково привело нас к обмирщению, к утрате самобытности. Мы стали «средними европейцами», мы потеряли братские отношения.

«Враги ли мы с греками? Нет, конечно», — говорил монах Климент (Леонтьев). Враг наш диавол, он нас разделяет, он сеет вражду, а мы по своей немощи человеческой часто его слушаемся.

За последние годы видно заметное сближение в возвращении к общей нам православной идее. Греки, несмотря на то, что у них предостаточно своих святых, как древних, так и новых, почитают и русских. Особенно любят они преподобных Серафима Саровского, Силуана Афонского. С последним да-

же связывают надежды на возрождение у себя Православия.

В России переводятся и быстро распространяются жизнеописания старцев Афона и подвизавшихся в других местах Греции. Кажется, нет в России такого православного христианина, который бы не знал старца Паисия Святогорца. Любят русские своего соотечественника старца Иеронима, столь много потрудившегося на Востоке для чести русского имени, о котором говорят, что светильник этот хоть и горел на Афоне, но светом своим озарял и свою отчизну[113].

Ждут греки исполнения древнего пророчества об освобождении русской армией Царьграда от турок, о возвращении им древних святынь и в знак благодарности по братской любви они теперь уже готовы возвратить русским их святыню на Афоне — Андреевский и Ильинский скиты.

Время вражды, время разделения прошло. Так и монах Климент (Леонтьев) в свое время уже заботился об «укреплении Православной Церкви», потому что «последние времена по всем признакам близки» и «надо готовить

паству для последней борьбы»[114].

Примечания

1

Антоний, архиеп. Искренняя душа // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 317–318.

[^^^]

2

Великая стража: Жизнь и труды блаженной памяти афонских старцев иеросхимонаха Иеронима и схиархимандрита Макария. М., 2001. С. 148.

[^^^]

3

Леонтьев К. Н. Письма к В. Розанову // Волга. 1992. № 2. С. 120.

[^^^]

4

Леонтьев К. Н. Кто правее? Письма к В. С. Соловьеву / Полн. собр. соч. (далее — ПСС). СПб., 2009. Т. 8. Кн. 2. С. 156.

[^^^]

5

Леонтьев К. Н. Моя исповедь / ПСС. СПб., 2003. Т. 6. Кн. 1. С. 233.

[^^^]

6

См.: *Леонтьев К. Н.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни / Там же. С. 302–303.

[^^^]

7

Леонтьев К. Н. Чужим умом / ПСС. СПб., 2007. Т. 8. Кн. 1. С. 495; *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство / К. Леонтьев. Восток, Россия и славянство (далее — ВРС). М., 1996. С. 130.

[^^^]

8

Византизм и славянство. С. 130.

[^^^]

9

Там же. С. 130–131.

[^^^]

10

Византизм и славянство. С. 131.

[^^^]

11

Византизм и славянство. С. 94, 114.

[^^^]

12

Византизм и славянство. С. 95–96.

[^^^]

13

См.: Там же. С. 151.

[^^^]

14

Там же. С. 94.

[^^^]

15

См.: Византизм и славянство. С. 142.

[^^^]

16

Византизм и славянство. С. 95, 102; Чужим умом. С. 490.

[^^^]

17

Леонтьев К. Н. Передовые статьи «Варшавского дневника» 1880 г. / ВРС. С. 225.

[^^^]

18

Передовые статьи… С. 226.

[^^^]

19

Леонтьев К. Н. Культурный идеал и племенная политика / ВРС. С. 604.

[^^^]

20

Там же.

[^^^]

21

Византизм и славянство. С. 94.

[^^^]

22

Леонтьев К. Н. Над могилой Пазухина / ВРС. С. 680.

[^^^]

23

Культурный идеал... С. 606.

[^^^]

24

Леонтьев К. Н. О всемирной любви / ВРС. С. 328.

[^^^]

25

Леонтьев К. Н. Князь Алексей Церетелев / ПСС. Т. 6. Ч. 1. С. 397.

[^^^]

26

Леонтьев К. Н. Враги ли мы с греками? / ВРС. С. 156.

[^^^]

27

Леонтьев К. Н. Дополнение к двум статьям о панславизме / Там же. С. 81.

[^^^]

28

Леонтьев К. Н. Храм и церковь. С. 165–166; *Леонтьев К. Н.* Панславизм и греки / ВРС. С. 45–46, 65.

[^^^]

29

Леонтьев К. Н. Еще о греко-болгарской распре / Там же. С. 91–92; *Леонтьев К. Н.* Территориальные отношения /Там же. С. 159.

[^^^]

30

Еще о греко-болгарской распре. С. 92.

[^^^]

31

См.: Византизм и славянство. С. 111.

[^^^]

32

Византизм и славянство. С. 115.

[^^^]

33

Переворот *(фр.)*.

[^^^]

34

Византизм и славянство. С. 113–114.

[^^^]

35

Дополнение к двум статьям... С. 81.

[^^^]

36

Византизм и славянство. С. 113.

[^^^]

37

Храм и Церковь. С. 165–166; Враги ли мы с греками? С. 157.

[^^^]

38

Византизм и славянство. С. 113.

[^^^]

39

Письма отшельника. С. 168.

[^^^]

40

Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах / ВРС. С. 358.

[^^^]

41

Письма отшельника. С. 175.

[^^^]

42

Письма о восточных делах. С. 358.

[^^^]

43

Плутократия — власть богачей.

[^^^]

44

Грамматократия — власть образованных.

[^^^]

45

Эмансипация — освобождение.

[^^^]

46

Райя — немусульманское население Турции (тур. с араб.: паства, пасомые; подданные, население).

[^^^]

47

Фактически *(лат.)*.

[^^^]

48

Национальная одежда в форме юбочек у греческих и албанских горцев.

[^^^]

Род *(фр.)*.

[^^^]

Почетного *(лат.)*.

[^^^]

51

Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции / ВРС. С. 514—15; Письма отшельника. С. 169; *Леонтьев К. Н.* Плоды национальных движений на Православном Востоке / Там же. С. 536–542.

[^^^]

52

Плоды национальных движений... С. 542.

[^^^]

53

Еще о греко-болгарской распре. С. 86–87.

[^^^]

54

Плоды национальных движений... С. 558.

[^^^]

55

Еще о греко-болгарской распре. С. 85.

[^^^]

56

Выманивание, похищение *(фр.)*.

[^^^]

57

Еще о греко-болгарской распре. С. 84–85.

[^^^]

58

Плоды национальных движений... С. 556.

[^^^]

59

Плоды национальных движений... С. 558–560.

[^^^]

60

Культурный идеал… С. 605; Письма отшельника. С. 170–174.

[^^^]

61

Письма отшельника. С. 173.

[^^^]

62

Письма отшельника. С. 166–168; Дополнение к двум статьям... С. 81; Враги ли мы с греками? С. 158.

[^^^]

63

Письма отшельника. С. 174.

[^^^]

Храм и Церковь. С. 165.

[^^^]

65

Письма о восточных делах. С. 364–365; Еще о греко-болгарской распре. С. 89.

[^^^]

66

Румынский господарь в 1860-х гг.

[^^^]

67

Еще о греко-болгарской распре. С. 89.

[^^^]

См.: Там же. С. 88.

[^^^]

69

Курительный прибор.

[^^^]

70

Леонтьев К. Н. Панславизм на Афоне / ВРС. С. 56.

[^^^]

71

См.: Панславизм на Афоне. С. 56–57.

[^^^]

72

Панславизм на Афоне. С. 64–65; Еще о греко-болгарской распре. С. 89–90.

[^^^]

73

Еще о греко-болгарской распре. С. 90–91.

[^^^]

74

Панславизм на Афоне. С. 62.

[^^^]

75

Панславизм на Афоне. С. 60–61.

[^^^]

Там же. С. 62.

[^^^]

77

Великая стража. С. 752.

[^^^]

78

Письмо к иеромон. Арсению (Минину) от 14 янв. 1875 г. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 253, оп. 1, ед. хр. 204, л. 68.

[^^^]

79

Натиск на Запад *(нем.)*.

[^^^]

80

Рок, судьба *(лат.)*.

[^^^]

81

Панславизм и греки. С. 45–46, 49–50.

[^^^]

Там же. С. 44.

[^^^]

83

Там же.

[^^^]

84

Панславизм и греки. С. 44–45.

[^^^]

85

Панславизм и греки. С. 48.

[^^^]

86

Панславизм и греки. С. 47.

[^^^]

87

Князь Алексей Церетелев. С. 392; Враги ли с греками? С. 158.

[^^^]

88

Письма о восточных делах. С. 363.

[^^^]

89

Леонтьев К. Н. Русские, греки и юго-славяне / ПСС. СПб., 2005. Т. 7. Кн. 1. С. 489.

[^^^]

90

Там же. С. 490; Письма о восточных делах. С. 363.

[^^^]

91

Князь Алексей Церетелев. С. 395–396.

[^^^]

92

См.: Русские, греки и юго-славяне. С. 490.

[^^^]

93

Панславизм и греки. С. 46–47.

[^^^]

94

Панславизм и греки. С. 54–55.

[^^^]

95

Панславизм и греки. С. 55.

[^^^]

96

Панславизм и греки. С. 55.

[^^^]

97

Передовые статьи… С. 224.

[^^^]

98

Храм и Церковь. С. 165.

[^^^]

99

Письма о восточных делах. С. 365.

[^^^]

100

Письма о восточных делах. С. 365–366.

[^^^]

101

Письма К. Н. Леонтьева к А. Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 5.

[^^^]

102

Письма о восточных делах. С. 371.

[^^^]

103

«Реальное соединение» *(фр.)*.

[^^^]

104

«Личное соединение» *(фр.)*.

[^^^]

105

Храм и Церковь. С. 164; Письма о восточных делах. С. 353, 371.

[^^^]

106

Письма о восточных делах. С. 370, 373, 382, 385, 390.

[^^^]

107

Там же. С. 365.

[^^^]

108

См.: Переписка К. Н. Леонтьева и С. Ф. Шарапова (1888–1890) // Русская литература. СПб., 2004. № 1. С. 125–126.

[^^^]

109

Там же. С. 126.

[^^^]

110

Там же.

[^^^]

111

К. Н. Леонтьев — К. А. Губастову // Русское обозрение. 1896. Январь. С. 425; *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874–1875 гг. / ПСС. Т. 6. Кн. 1. С. 78.

[^^^]

112

Письма К. Н. Леонтьева к А. Александрову. С. 93.

[^^^]

113

Необходимо заметить, что в самом Русском Пантелеймоновом монастыре об отце Иерониме почему-то умалчивается. Поучительным и богоугодным его житием не назидаются, наставлениями его не поучаются, заветы его не соблюдаются; кроме сухого поминовения на заупокойной ектении, о нем не вспоминается. И как результат — обитель его, некогда столь высоко им возвеличенная и прославленная, при всем нынешнем ее от России вещественном обеспечении, при всем изобилии святогорской благодати, которую чувствуют все посетители, не имеет необходимо нужного внутреннего душеспасительного устроения. Да это и вполне понятно, ибо сам отец Иероним словами преподобного Ефрема Сирина предупреждал, что «горе той киновии, в которой законные правила не сохраняются» (Устав Русского на Афоне св. великомученика и целителя Пантелеймона общежительного монастыря / Духовное наследие иеросхимон. Иеронима. М., 2012. С. 287).

[^^^]

114

Письма К. Н. Леонтьева к А. Александрову. С. 5.

[^^^]